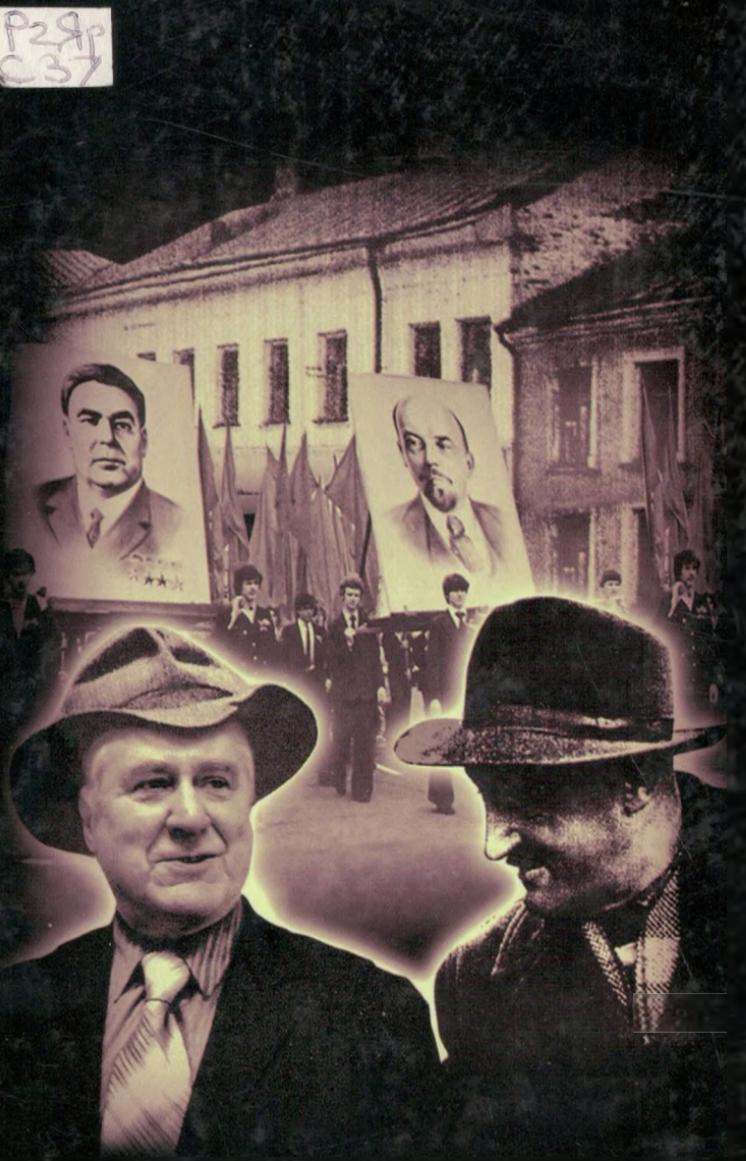


P29p
C37

АЛЬФРЕД СИМОНОВ



ОРБИТА ОСКОЛКА

Из записной книжки
полковника контрразведки



Вторая книга Альфреда Симонова
выходит в свет в юбилейный
для автора год.

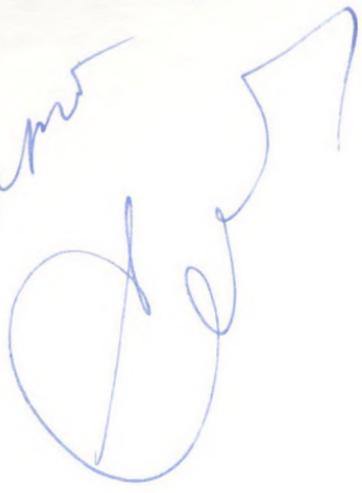
Произведение, вошедшие в нее,
автобиографичны:
прозаик из Ярославля пишет о том,
что хорошо знает, что пережил сам.
А вспомнить офицеру КГБ есть о чем...

ISBN 978-5-903372-01-0



Крив.
1-08: 2019

Информация
приведенная в
данным документе
не является
официальной

A large, stylized handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a large circle with a vertical line through it and a flourish extending to the right.

Альфред Симонов

P2Яр
С37



ОРБИТА ОСКОЛКА

Из записной книжки полковника контрразведки

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
города Ярославля»

Ярославль

«ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ»
2007

-156046-2

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44
С37

Симонов А.Н.

С37 Орбита осколка: Из записной книжки полковника контрразведки. – Ярославль: Издательство «Редакция газеты «Губернские вести», 2007. – 164 с.

ISBN 978-5-903372-01-0

Вторая книга Альфреда Симонова выходит в свет в юбилейный для автора год. Произведения, вошедшие в нее, автобиографичны: прозаик из Ярославля пишет о том, что хорошо знает, что пережил сам. А вспомнить офицеру КГБ есть о чем...

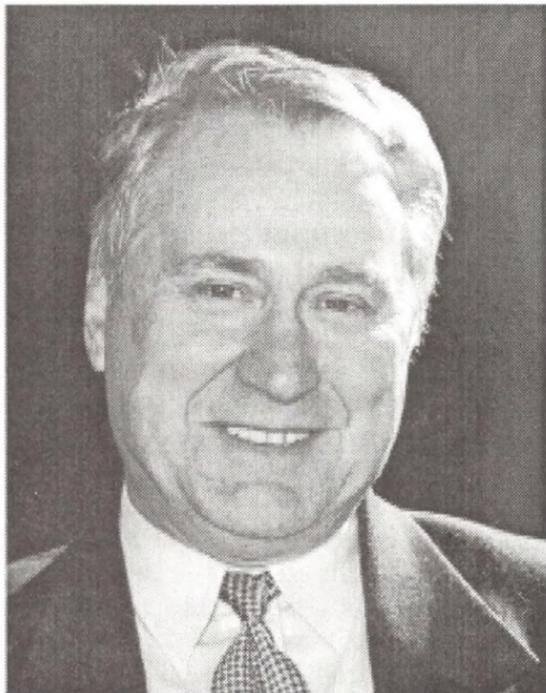
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-903372-01-0

© Симонов А.Н., 2007
© «Губернские вести», 2007

Альфред Симонов

P29p



ОРБИТА ОСКОЛКА

Из записной книжки полковника контрразведки

«ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ»

2007

*Автор сердечно благодарит
Валерия Зайцева, руководителя
Ярославского регионального отделения
Российской организации сотрудников
правоохранительных органов
за помощь в издании этой книги.*

ПОСЛЕ МОРОЗОВ

О новой книге Альфреда Симонова

Я сам оттуда, из советского «светлого прошлого», о котором пишет мой старший друг Альфред Симонов. Кажется ли оно мне светлым? Боюсь, что нет. Ведь я хорошо помню и магазинные полки, заставленные «Завтраками туриста», и поездки из Ярославля в Москву за колбасой, и все эти убогие «марксистско-ленинские штудии», и цензуру Главлита...

Но на вкус и цвет товарища нет. Демократия, однако: каждый волен любить и ностальгически вспоминать своё — то, к чему душа прикипела. Тем более, что я, будучи историком по образованию, прекрасно отдаю себе отчет: советская империя совсем не была колоссом на глиняных ногах. Сильная была страна, и было ей, чем гордиться. И многие люди, строившие и охранявшие ее, были сильными, волевыми и честными. Фразу Черчилля о том, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой, я хорошо помню. И знаю, что тот же Сталин, в отличие от многих нынешних сильных мира сего, не нажил себе ни золотых хором, ни счетов в зарубежных банках. Не ради денег жили и работали те люди — уже одно это во многом их обеляет.

Впрочем, что это я вдруг о Сталине? Товарищ мой пишет, в основном, о других временах, гораздо более поздних. И, кроме того, словом «светлое» автор, насколько я понимаю, обозначает совсем не хрущевско-брежневские порядки, а свое восприятие мира — оптимистическое, незамутненное, воистину светлое...

Что меня, искушенного читателя, привлекает в этой книге? Прежде всего, то, что не сразу, наверное, и не

всем бросается в глаза: это записки чекиста, но — чекиста особенного, чекиста «оттепельного» призыва. Студент-историк, всеми фибрами юной души своей ненавидящий 37-й год, становится штатным сотрудником 5-го управления КГБ СССР... вот какой фортель выкинула биография рыбинского парнишки Алика Симонова! И таких, как он, в 70-80-е годы было в органах государственной безопасности немало; в противном случае мордовских лагерей попробовали бы не сотни, а сотни тысяч юных и не очень юных тогдашних вольнодумцев.

Оттепель после сталинских морозов. Вытаивание человеческих чувств. Зеленые ростки классового мира, пронизавшие всю жизнь Советской империи. Вот суть этого периода и этого феномена. «Записки оттепельного чекиста», — так я назвал бы эту книгу, будь ее автором.

Но автор, как говорится, «сам с усами». Боюсь, что он совсем не столь однозначно оценивает и этот период отечественной истории, и свою собственную судьбу. А как именно — об этом вы узнаете, прочитав эти записки. Думаю, вам будет интересно.

Евгений Чеканов,
член Союза писателей России.

**Светлое
прошлое**



* * *

После первого полета человека в космос часто можно было услышать: «Гагарин летал в космос — и Бога там не увидел». На многих людей этот довод действовал. Часто цитировали и слова другого космонавта, впервые увидевшего Землю из космоса: «Какая же она маленькая...»

Мне думается, наши парни увидели оттуда, с борта корабля, главное доказательство существования Бога — нашу Землю.

Наша Земля... Маленький, уютный, голубоглазый островок жизни в мрачном холоде Вселенной... Уже точно известно, что на многие десятки световых лет вокруг нет ничего подобного этому островку. Нам повезло. Среди вечного, безмерного, ледяного, идеально организованного, мертвого пространства для нас одних созданы самые благоприятные условия для жизни.

И мы живем...

* * *

В блестящей от весенней грязи канаве играет с солнцем прозрачный, светлый, чистый ручей. На дне его, среди ярких камушков, ослепительно белеет маленький осколок от белого фарфорового чайника. Я не могу оторвать взгляда от него, я испытываю какую-то неизъяснимую радость...

Это — первое детское впечатление от бесконечной красоты открывшегося взгляду мира.

* * *

Двухэтажный деревянный дом, потемневшие, в глубоких трещинах бревна... Мой отец, пришедший с войны на костылях и носящий глубоко в своем теле сто граммов качественного крупновского металла, самовольно занял комнату в этом доме. Просто — вошел

и свалил на пол все свидетельства своей бедности: старую табуретку, узел с изношенной одеждой. Как ни суровы были сталинские времена, фронтового разведчика никто не посмел осудить.

Здесь, в этом доме, я и родился.

Едва научившись писать печатными буквами свое имя, я тут же, повинувшись какому-то безотчетному чувству, выжег его с помощью увеличительного стекла на одном из этих сухих, потрескавшихся бревен. Как сейчас, вижу легкую струйку дыма, ослепительную пляшущую точку на светлом дереве, черные расплзающиеся буквы; ноздри щекочет запах горячей древесины... Я возвращался туда лет через десять, буквы были еще видны. Потом, правда, они исчезли, как исчез и сам дом.

Странное ощущение испытываешь, обнаруживая, что место, где ты появился на свет, более не существует. Земля освободила это место для других?

* * *

...Сижусь на перилах крыльца и воображаю себя всадником, несущимся куда-то на лихом коне, куда-то в счастье. Ощущение абсолютной реальности этой воображаемой скачки...

* * *

Перед первомайской демонстрацией мой друг из соседнего дома, Генка, зовет меня к себе домой, отведать лимонада. На столе стоит небольшое блюдо с красной икрой, я ее вижу впервые. Генка дает мне ложку и мы, зачерпывая по очереди красные прозрачные горошины, начинаем обжираться этим (по тем временам, довольно обычным) продуктом.

Тогда икра мне не понравилась: соленая больно...

* * *

Возчик, разозлившись, бьет лошадь по доброй морде. Она только отворачивается. Мальчишкам жалко лошадь и они кидают в возчика камнями. Тот бросает лошадь и гонится за ними. Не догнал!

* * *

Бабушка приводит меня в церковь. Мне года четыре, не больше, и впечатление от первого посещения Божьего храма – ошеломляющее. Лики святых смотрят с огромных икон так сурово, как будто я в чем-то сильно провинился, но наказания еще не понес, оно впереди.

Лет через тридцать я вновь вошел в эту церковь. Теперь иконы не показались мне такими уж большими. Святые же смотрели с них, скорее, задумчиво, как бы спрашивая: «Что же из тебя получилось?»

* * *

Перед нашим домом – маленький палисадник, рядом зеленеет толстая старая береза. Однажды летом я обнаружил рядом с ней целых три подберезовика – на крепких светлых ножках, с уютными коричневыми шапочками. Торжественно отнес их бабушке – и она тут же сварила из них суп...

Когда на душе скребут кошки, мне почему-то часто вспоминается именно эта нечаянная радость.

* * *

Небольшую речушку в округе все почему-то называли «ручьём». Мы купались в ее прохладной, ласково журчащей воде, женщины полоскали там белье, рыбаки ловили рыбешку, – но все равно: ручей да ручей.

Почему? Наверное, потому, что в километре текла великая Волга. Рядом с ней все кажется маленьким.

* * *

Парус на реке был похож на белую бабочку, сложившую крылья.

* * *

Наш поселок, застроенный двухэтажными деревянными домами, находился в черте города, но поселковый народ, говоря «иду в город», всегда имел в виду только центральную часть, до которой было топтать и топтать. Откуда такая привычка? Думаю, она шла из очень давних времен, ведь на Руси городом называли, прежде всего, крепость, центр, куда слобожане и крестьяне из окрестных деревень сбегались при угрозе нападения. Даже сейчас я часто ловлю себя на том, что говорю «пошел в город», хотя выхожу всего лишь на улицу, а город, собственно, у меня за окном.

За поселком город кончался, начиналось поле. Во времена моего детства там росли полевые цветы и, почему-то, земляника. Сейчас, — я там был недавно, — сплошной корявый асфальт, выбоины... Словно морщины на лбу усталого, пожившего человека.

* * *

Бабушка сшила лоскутный коврик. Впервые увидев его, я поразился сочетанию нарядности и убогости одновременно. Сочетание несочетаемого: роскошные лохмотья. И, одновременно, самая наглядная модель пестрого мира.

* * *

На чердаке нашего дома, где причудливой горой высились старые венские стулья, я нашел полный комплект для игры в крокет — тяжелые деревянные шары, деревянные молотки с длинными ручками, на которых

можно было еще рассмотреть надписи на иностранном языке. Спросил бабушку, каковы правила игры; она не знала, или забыла. Пришлось изобрести собственные — и в тот же день все мои поселковые приятели с азартом гоняли по траве деревянные шары. Этикие босоногие джентльмены...

* * *

В кино мы проходили без билетов: забирались на сцену и сидели за экраном. Так, «наоборот», я смотрел «Тарзана» раз пятнадцать. Обратная сторона искусства.

* * *

На чердаке старого дома нашел подшивку журналов «Нива». А еще там была «Газета-копейка» конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Я с удивлением рассматривал фотографии царской семьи, изображения крестных ходов, каких-то бородатых «товарищей министра». У меня было ощущение, что на том же пространстве, где я живу, была когда-то совсем другая страна...

А шутки из юмористической «Газеты-копейки» я часто потом встречал на страницах журнала «Крокодил».

* * *

В обмен на хороший самодельный самокат получил старинную серебряную медаль «За усердие». Долго разглядывал ее. Поразило меня то, что и в царские времена людей награждали за труд. Как-то это не очень вязалось с официальной точкой зрения...

* * *

У берега Волги всегда было множество «гонок», то есть пакетов бревен, которые сплавляли по реке. На

гонках шла своя жизнь — там выпивали компании взрослых, ребята ловили рыбу. Многие забавлялись тем, что ныряли под гонки на спор. Бывало, и не выныривали...

* * *

По утрам, перед работой, к нам часто заходил сосед снизу, дядя Коля — и приносил на продажу свежих лещей, которых он поймал ночью. Мы знали, что об этом надо помалкивать, — как знали и то, что место, где Шексна впадает в Волгу, уже с вечера сплошь усеяно лодками, оснащенными «пауками», то есть запрещенными рыбонадзором сетками. Рыбы ловилось много, но в свободной продаже ее не было, вся расходилась по знакомым и родственникам. Худо-бедно, а все же приварок...

У дяди Коли была огромная, по нынешним понятиям, семья, то есть стимул к труду у него имелся. Он вкалывал на судостроительном заводе, а помимо того, промышлял еще и постройкой особых волжских лодок: они имели плавные, какие-то мягкие очертания, немного напоминающие скорлупки грецкого ореха, если их слегка вытянуть. На постройку лодки у дяди Коли уходило недели две — и все это действие, то бишь, волшебное превращение обычных досок в пахнущую свежей смолой ладью, происходило на моих глазах. Раскупали лодки сразу же, причем по хорошей цене (почти месячная зарплата заводского рабочего).

Когда я в очередной раз читаю, что русские ленивы и не умеют качественно работать, я всегда вспоминаю эти лодки, необыкновенно прочные и устойчивые.

* * *

Напротив нашего дома был лагерь военнопленных немцев: каждое утро огромную серую колонну вели на работу в окружении автоматчиков. Мне немцев не было жалко, но и ненависти к ним я не ощущал. Было, помню, чуть-чуть жутковато смотреть на эту колонну...

Со временем режим у пленных стал посвободней, их даже отпускали подработать на ремонте квартир. Делали они все на совесть, были, помню, приветливы и общительны. Вот парадокс истории: на бытовом уровне мы вполне можем ужиться с немцами, а две самые кровопролитные войны — с ними. Неужели схлестнемся еще?

* * *

Отгремевшая война то и дело напоминала о себе. Однажды отец привез откуда-то несколько отличных мешков под картошку; они были аккуратно сложены и упакованы. Когда мы на огороде их развернули, увидели на каждом — по всей длине мешка — фашистского орла со свастикой. Я тряхнул мешок и из него выпала монетка в пять пфеннигов, с той же фашистской символикой. Странно это выглядело посреди поля, до которого война не дошла.

Потом знакомый мальчишка показал мне фашистскую награду — настоящий железный гитлеровский крест. По фильмам о войне я знал о ней, но вот увидеть пришлось впервые. Крест показался мне каким-то невзрачным — наши награды, яркие, нарядные, выглядели куда лучше.

На пустыре я нашел немецкую каску. Прямо посередине нее была дыра величиной с кулак, с ржавыми острыми краями. Меня поразило то, что каска была

очень тяжелая и прочная — от удара молотком она только звенела. Правда, тому, кто ее носил, явно не повезло.

А не ходи на Русь!

* * *

Во время прогулки по Волге баржа, на которой уместилась добрая половина нашего пионерского лагеря, причалила около полуразрушенной церкви. Мы выскочили на берег и оказались рядом с заброшенным кладбищем, на которое наступал лес. Воображая себя Чингачгуками, бродили по нему, вглядывались в маленькие металлические иконки, лежавшие на каждом из могильных холмиков. Холмики эти были буквально усеяны спелыми, очень крупными ягодами земляники. Пожалуй, именно тогда я впервые подумал, что эти ягоды очень похожи на капли крови...

Попритихшие, мы ушли оттуда. Никто даже не попытался сорвать ягоду.

* * *

Два главных впечатления от радио в детстве: «Я на горку шла» в исполнении Руслановой и «под руководством партии Ленина-Сталина», — это уже хорошо поставленным, «государственным» голосом Левитана. Как-то я даже спросил у родителей: «А она шла на горку под руководством партии Ленина-Сталина?»

Получил шлепок по заднице.

* * *

Две женщины разговаривают о Сталине: женат он — или нет? Одна — невзрачная, в бедном полинялом платье — говорит: «За Сталина любая бы пошла, даже я».

Это любовь простых людей.

* * *

Похороны Сталина были не только в Москве. В нашем городе оглушительно выли сирены, хрипели гудки паровозов, люди на улицах плакали. Так, наверное, полагалось. Но многие плакали искренне.

Мне тоже было грустно. Ушло что-то огромное и важное, от чего зависела и моя жизнь.

* * *

В середине пятидесятых в стране объявили большую амнистию — и вскоре по нашему городу поползли страшные слухи о нападениях, грабежах, убийствах. Вечерами улицы пустели; я помню ощущение постоянного чувства опасности.

В поселке у многих отцы отсидели; тюремные нравы господствовали и в отношениях между детьми, во дворе. Чтобы чувствовать себя защищенным, нужно было обязательно примыкать к какой-то группе...

* * *

Война давно закончилась, но во дворах она была в полном разгаре — в виде мальчишеских игр. Мы играли в войну и вооружались при этом до зубов: у каждого из нас дома был целый деревянный арсенал... автоматы, пулеметы, пистолеты. Все это было искусно вырезано из досок — и дворовые оравы целыми днями гонялись друг за другом, отчаянно споря, кто кого «подстрелил». Доходило и до мордобоя.

Помню, как я, выстругав из дубовой доски превосходную саблю, вышел сразиться с парнем, что был на несколько лет старше меня. Мы скрестили клинки — и от моей замечательной сабли тут же отлетела сначала треть, а затем и половина. Оказывается, короткий

156046-2
-970095

кинжал в руках у парня был совсем не деревянным, а настоящим. А я-то уже лелеял мысль о победе...

К сожалению, подлость всегда вооружена настоящим оружием, деревянная сабля тут не поможет. Сейчас, когда террористы захватывают в заложники целые школы с детьми, мне это особенно ясно.

Против кинжалов нужен меч!

* * *

Столько лет прошло, а до сих пор помню это... Маленький дикий зверек с черной блестящей шерстью, размером чуть меньше кошки, вскочил на ствол березы и стал медленно карабкаться вверх, подбираясь к двум нашим скворечникам, где уже поселились птенцы. Намерения зверька были очевидны, и я уже собрался шугнуть его, но внезапно из-за куста сирени вылетела стая воробьев, этак не меньше сотни. Стая начала облетать зверька, закладывая, как по команде, стремительные виражи и чирикавая при этом так громко, что закладывало уши. Но хищник упрямо лез вверх. Тогда воробьи изменили тактику и стали задевать его во время облета. Не выдержав атаки, зверек спрыгнул вниз и убежал — а воробьи мгновенно успокоились и опять спрятались в ветвях сирени.

На другой день я нашел зверька в погребке, мертвым, глаза у него были выклеваны.

Почему воробьи вступились за скворцов? Ведь им, воробьям, зверек совсем не угрожал... Птичья солидарность?

* * *

Ежедневный поход в магазин за хлебом. Хлеб — черный; белые булки появились только в пятьдесят шестом, после освоения целины. До этого я его не видел.

Черному хлебу отдаю предпочтение до сих пор.

* * *

Хмурый, холодный день, идет нескончаемый дождь; я возвращаюсь из магазина с кульком, полным баранок. Они выпечены из какой-то темной муки, но все равно необыкновенно вкусные, мягкие и теплые. Чтобы спастись от дождя, который стал уже проливным, забегаю под навес, с трех сторон закрытый досками... ба! здесь уже стоят мои приятели — брат с сестрой из соседнего двора. С аппетитом уминаем баранки, «травим» какие-то бесконечные забавные истории, хохочем. От того, что мы симпатичны друг другу, от запаха и вкуса баранок, от ощущения, что дождь нас не может достать, возникает необыкновенное впечатление уюта, тепла... но вот баранки съедены, дождь кончился, друзья прощаются со мной. Я плетусь домой грустный, так как не знаю, что сказать родителям по поводу отсутствия продукта. По своему обыкновению, смотрю в землю и... о, чудо! вижу на дороге комок из смятых, мокрых бумажек. Деньги! Разворачиваю: целых одиннадцать рублей! Бегу в магазин, вновь отстаиваю очередь — и несу домой новый кулек баранок.

Кто-то там, наверху, меня пожалел.

* * *

Сиюю сейчас за столом, мараю бумагу, а с лестничной клетки несет запахом жареной рыбы. Запах бедности... И сразу вспомнилось, что наша бабушка по воскресеньям пекла длинные ржаные пироги с треской либо зеленым луком, другой начинки не признавала.

Горячие ржаные пироги... где их попробуешь в наше время?

* * *

Юрка пригласил меня к себе домой, на воскресный обед. У нас дома обеды были одинаковы, что в будни,

что в праздник, ни особых названий, ни церемоний не было. А тут... Сидим в зале, Юркина бабушка, «смолянка», приглашает в столовую. На столе, покрытом парадной скатертью, множество старинных тарелок, посредине — большая супница. Я обратил внимание, что все, садящиеся за стол (исключая, конечно, меня), нарядно одеты; отчим Юрки — в безукоризненно белой рубашке, в отличном галстуке.

Парень я был простой, и от обилия ложек и вилок на столе не очень-то смутился. Но некоторую неловкость все же испытывал. Первое съели молча, за вторым завязалась легкая беседа о живописи, затем подали невиданный мною доселе десерт, клубнику со сливками. Завершил все отличный кофе, сваренный по особому рецепту. А после обеда нас сфотографировали на память и отправили в кино. В этот день я впервые понял, что и в нашем рабочем поселке можно жить иначе, не как все.

Фото с того обеда у меня хранится до сих пор: будущий поэт-диссидент Юрий Кублановский и будущий полковник контрразведки Альфред Симонов. Ирония судьбы.

* * *

Вместе с родителями (было мне тогда лет четырнадцать) был в гостях у своего дяди. Там, зная мое увлечение рисованием, мне дали бумагу, карандаши и краски. Я взял с этажерки первую попавшуюся книжку, «Рассказы о Ленине», и решил перерисовать вождя. Почти закончил работу, когда подвыпивший дядя подошел ко мне, желая, видимо, оценить мое творчество. Увидел рисунок и побледнел.

Взяв у меня листок, он молча, аккуратно его разорвал. А мне сказал: «Никогда не делай больше этого».

Тогда я понял только, что вождя я нарисовал плохо, и что дяде не понравилось. Лишь впоследствии до меня

дошло, что у этого поколения страх сидел не то что в поджилках, а где-то еще глубже. А ведь было уже время оттепели, бояться было уже нечего. Вроде бы...

* * *

Перед поступлением в вуз я лихорадочно набивал свою голову знаниями... прямо, как наволочку сеном. И все же обучение в заочной школе рабочей молодежи давало о себе знать — на экзамене по истории СССР перепутал съезд партии со съездом Советов. Наверное, перевирал и даты. Правда, говорил уверенно, без запинки, хорошим русским языком, без слов-паразитов.

Экзаменатор смотрел на меня, как папа Карло на полено: в печку его бросить — или попытаться выстругать что-то дельное?

Поставив мне «отлично», он решил мою судьбу.

* * *

Студенческий ансамбль, где я брэнчал на гитаре и подпевал солисту, разучил и исполнил на одном из вечеров песню из пустенького, но безумно красивого югославского фильма «Любовь и мода». Из-за этой забойной песенки «Девочка мала» (маленькая девчонка) мы посмотрели фильм раз десять. А потом в горком партии поступила жалоба: дескать, в учебном заведении исполняются песни югославских ревизионистов. Какой-то педагог настрочил...

Но времена уже были другие. Морозы отступили, в разгаре была оттепель. И нам все сошло с рук.

* * *

Осенью, как обычно, нас отправили в колхоз, «на картошку». Правда, картошку мы как раз не копали:

председатель доверил нам куда более интеллигентную работу — теревить лен. Ни перчаток, ни рукавиц не было, поэтому ладони наши уже через пару дней стали грубыми и шершавыми, как кирзовые сапоги.

Бригадир поручил мне и Юрке загнать теленка в кузов машины. Мы взяли в руки хворостины, но бить скотину не могли, было жалко. А теленок и не боялся наших прутьев. Бегал он от нас весело, как собачонка.

Бригадир (он себя называл товарищем Мутовкиным), понаблюдав за этой беготней, сказал снисходительно:

— У вас, ребяташки, палки нерентабельные.

Неодобрительно высказавшись о матери теленка, он размахнулся — и мгновенно загнал бедную животину в машину. Этаким Александр Македонский, расправившийся с «гордиевым узлом». Только вместо меча в руках у нашего победоносного воителя был крепкий березовый кол.

* * *

В пошехонской деревне мы купили у старушки древнее платье с традиционной для этих мест вышивкой — красное по зеленому. В избе обратили внимание на какое-то приспособление из кованого железа, вбитое в стену.

— Что это?

— Светец.

— А для чего он?

— Лучину в него втыкаю и сижу вечером.

— Но ведь электричество есть!

— Бывает, и отключают. Тогда вот лучину зажигаю.

— А пожара не боитесь?

— Нет, не боюсь. Я под лучину тазик с водой ставлю.

Мы смотрели на этот светец, как на диво дивное. Словно перенеслись лет на двести назад.

Переночевав у старушки, спросили утром, где можно купить хлеба.

— А эвон пекарня, за оврагом.

Пришли в пекарню. Запах свежего черного хлеба ни с чем не сравнить, он один такой. Купили два огромных горячих караваев, да тут же их и смолотили.

Хотели купить еще, да нам не продали — этак своим, деревенским, не хватит.

* * *

На летние каникулы я задержался в общежитии: работал над статьей для газеты. Но вечером нагрязнул наш комсомольский босс со своей проблемой: группу латиноамериканских студентов, приехавших в наш вуз, было нечем занять. Босс возвал к моей сознательности — и я его выручил. Как? Да очень просто: собрал своих приятелей, мы скинулись и купили пять бутылок «Рошу де десерт», полкило килькипряного посола и много черного хлеба. Латинос, славные парни, старшекурсники, от спиртного не отказались, но изрядно изумились контрасту выпивки и закуски. Однако мы их заверили, что вот уже три года, считая с первого курса, употребляем эти продукты именно в указанном сочетании — и ничего дурного с нами до сих пор не случилось.

А потом латинос вошли во вкус. Вскоре черненький эквадорец уже мчался в магазин за дополнительным запасом. И вообще все было здорово, если не считать того, что мексиканец чуть не подрался с перуанцем по поводу политики. Еле мы их уняли.

Где-то они сейчас, эти латинос? Кем стали? Что пьют? Чем закусывают?

* * *

Помню, выступал перед нами, студентами, профессор ленинградского театрального института, специалист по быту девятнадцатого века. Лекцию свою он начал с того, что объяснил, как правильно пить

подогрѣтое немецкое вино. Слушали мы с интересом, хотя были более привычны к молдавскому портвейну из горла, на морозе. Потом профессор долго рассказывал, как отличить хороший коньяк от плохого и каким образом распознается коньячный букет. И это тоже было интересно (да и в жизни пригодилось).

А последней темой лекции были... физиологические основы любви. Ну, тут уж, понятно, все мы уставили глаза и наострили уши. Говорил специалист по быту больше часа и закончил свое выступление ударной фразой:

— Итак, вы поняли, что сердце здесь ни причем!

Я сам теперь в его тогдашнем возрасте, но о любви до сих пор так не думаю. Наверное, все дело в том, что он был специалистом именно по быту... И только по быту!

* * *

Семинар молодых литераторов. Аудитория разношерстная: от членов Союза писателей до таких, как я — написавших пять-шесть стихотворений и вообразивших о себе невесть что. После семинара нас пригласил на беседу первый секретарь обкома партии. Все шло своим чередом, но потом начались вопросы. Партийный босс обмолвился, что в городе скоро установят высеченный из гранита памятник Карлу Марксу. И тут встает наш ярославский писатель Михаил Рапов и хорошо поставленным голосом профессионального педагога спрашивает:

— Простите, а Маркса уже высекли?

Все в зале замерли.

— Высекли, высекли, — без тени улыбки произнес партийный лидер.

Я, помню, тогда еще подумал: вот это самообладание!

* * *

Перед экзаменом по педагогике мой приятель сильно волновался. Главное, о чем он сокрушался, был его несолидный вид. И тогда я предложил ему изменить свой облик, то есть, надеть очки.

— В очках человек выглядит лет на десять умнее! — убеждал я.

Он ухватился за эту идею и побежал искать очки. И нашел... только без стекол. Надел их и пошел сдавать экзамен.

На его счастье, вопросы ему попались легкие. Без запинки отбарабанив ответы, он с радостью увидел, как рука экзаменатора выводит в его зачетке оценку «отлично». И тут, как на грех, у него страшно зачесалось веко. Забывшись, он почесал его пальцем, не снимая оправы — и с ужасом увидел, что на лицах педагогов проступает явственное смятение.

— Извините, одно стекло выпало... — промямлил он. Все-таки отпустили его с миром.

* * *

Друг мой, талантливый поэт Саня Гаврилов, учился в те времена в Литературном институте. И вот однажды на зачете по поэзии советского периода ему достался билет с вопросом о творчестве Есенина. Лекций Санька не записывал, что отвечать, совершенно не знал. Но у него был с собой старый учебник по литературе, этак тридцать четвертого или тридцать пятого года издания. Добросовестно прочитав то, что там было написано о Есенине (а написано там было, что Есенин — реакционный, кулацкий поэт), Саша пересказал все это экзаменатору.

Педагог, известный поэт-песенник, поморщился.

— Вы высказали точку зрения на творчество поэта, бытовавшую в тридцатые годы... А сами-то вы какой точки зрения придерживаетесь?

— Официальной, — кратко ответил Санька.

Больше его ни о чем не спрашивали. Что поделаешь, если такой ортодокс попался...

* * *

При всей ироничности нашего народа, при вечном его стремлении превратить в полупохабную частушку самый серьезный лозунг, нельзя сказать, что этим лозунгам совсем уж не верили. Верили. Помню разговор двух работяг: они шли вместе с нами за грибами и на полном серьезе рассуждали, какой рабочий день будет при коммунизме и как это будет здорово — получать по потребности все, что необходимо.

* * *

Именно в те времена и произошла она, эта беседа. Я к ней — ну совершенно не был готов. Какое там «ЧеКа»!.. я историком хотел быть, ученым. Ну, на худой конец, журналистом.

Но человек, беседовавший со мной, сделал совершенно верный ход.

— Ты как к тридцать седьмому году относишься, к репрессиям? — спросил он меня.

— Отрицательно, конечно.

— Ну, вот... если хочешь, чтобы такое больше не повторялось, иди к нам.

И я пошел...

* * *

Отпуск, отпуск... модель жизни длиной в один неполный месяц. Радостные хлопоты, приготовления, восторг первых двух-трех дней. В середине — успокоенность и умиротворение: еще много осталось... А что

в конце? Знаю по прежним отпускам: в конце — грустное подсчитывание оставшихся дней. Три дня. Два дня. Один день... Все!

А мне в последние дни моего отпуска как-то непривычно легко пишется. И думается.

И вспоминается.

* * *

Когда настоящее тает, как пригоршня снега в теплых ладонях, когда будущее не имеет ясных очертаний и больше походит на сон, чем-то тревожащий тебя, остается только светлое прошлое. Оно уже случилось и ничто не сможет его переменить — ни в лучшую, ни в худшую сторону. В нем, в прошлом, мы и ищем все: и утешение, и точку опоры, и объяснение тому, что происходит.

Хотя занятие это, — искать объяснения, — пустое. Прошлое ничего объяснить не может. Никому еще не удалось извлечь из прошлого ту пользу, о которой мечталось. Скорее, прошлое может запутать.

Не потому ли жизнь любого русского человека и состоит, как правило, из путаницы и хаоса, являющихся естественной средой обитания его души?

Правда, тогда непонятно, откуда же берутся и наши победы в великих войнах, и прорывы в науке. Как, в этом случае, нам удалось докарабкаться до космоса?

Может быть, нам стоит вглядываться только в наши победы? А вдруг они и есть те самые «сухие камушки», по которым мы постоянно, ежечасно переходим опасные, как бурливая река, места нашей истории?

* * *

Вновь наткнулся в книге на фамилию «Смирнов». И задумался. Ведь это — одна из самых распространенных крестьянских фамилий. По-видимому, она

произошла от слова «смирный». Смирный мужик – ну, и фамилию ему давали «Смирнов». Но ведь мы – совсем не тихий народ. Стоит только глянуть на нашу историю – сплошные бунты, войны, восстания, междоусобицы, перевороты! Взять хоть минувший двадцатый век, самый что ни на есть просвещенный: с Японией воевали дважды, с Германией – дважды. А еще с финнами. А еще участвовали в конфликтах в Корее, Вьетнаме, Камбодже, Афганистане. Четыре революции пережили: 1905, февральскую, октябрьскую, вторую октябрьскую (1993). Гражданскую войну пережили. Теперь вот с Чечней воюем... И это – всего за сто лет, по сути – за одну человеческую жизнь.

Фамилия «Смирнов» – филологический обман!

* * *

Упомянул финнов – и вспомнил, как в Финляндии зашли мы с ребятами в русский ресторан. Хозяин тоже был русский; правда, говорил он на родном языке какими-то слишком правильными, слишком литературно грамотными фразами. И еще употреблял много старинных слов, которых у нас в России уже нет в обиходе.

Принесли обед: щи, свежую картошку с укропом, селедку с луком... в общем, без стопки-другой водки было никак не обойтись. Но, как на грех, у хозяина отсутствовала лицензия на продажу спиртного. Мы, правда, к этому были готовы. Как говорится, у нас с собой было. Но в чужой стране – не дома... просто так взять и выставить на стол наш пузырек мы поопасились.

Я обратился к хозяину за разрешением.

Хозяин с минуту мучился, говорил о возможных неприятностях, но, в конце концов, русская душа одолела финскую законопослушность. Он принес

стаканы, мы конспиративно разлили нашу бутылочку на пять персон, залпом выпили, закусили шами. Потом выпили еще, заели картошечкой с селедкой. Картошки было много, мы достали из сумки второй пузырек, потом третий... И тут наш хозяин не выдержал. Подошел к столу, сказал почему-то, что сегодня вечером ему надо ехать на балетный спектакль в Ленинград и... поставил на стол шестой стакан.

– Налейте уж и мне, товарищи! – сказал он с какой-то особенной теплотой в голосе.

Я наполнил его тару, он оглянулся на дверь, лихо опрокинул в себя стакан отменной русской водки, крикнул, заел картошечкой и с достоинством удалился.

Русский – он и на чужбине русский!

* * *

Наши, впрочем, когда им выпить хочется, иной раз и не такие спектакли закатывают...

Будучи в экспедиции, я заночевал в просторном сельском доме. Просыпаюсь утром в своей комнате и слышу разговор хозяина с хозяйкой. А надо сказать, что накануне мы с хозяином очень хорошо посидели. И вот он (тоже, видимо, лежа один в кровати), говорит через стенку осипшим голосом:

– Маша, дай рубль.

– Не дам. Опять нажрешься.

– Дай, говорю! А то я тебя... сварю.

– Не дам!

– Ну, смотри, Маша... Вот я уже встал, вот к плите подхожу.

– Из-за стенки твердое:

– Не получишь.

– ...Вот уже и плиту разжег. Вот уже и воду в кастрюле поставил на огонь...

За стеной молчание.

– Вот уже и лавровый лист бросил в воду...

Из-за стены – ехидное:

– И перчик с солью не забудь положить!

Я не выдержал, встал и пошел в комнату к мужику, чтобы, по возможности, предотвратить каннибалистический инцидент. Но мужик как лежал в постели, так и лежал – и был в эту минуту похож на актера, озвучивавшего опостылевший текст заигранной пьесы.

Я плеснул ему из своей заветной фляжки сто граммов. И рубль, и жена остались целы.

* * *

Бреду по городской улице, весь в своих мыслях. Уже метров за сто слышу забойную музыку, что несется из окна первого этажа... мой любимый рок-н-ролл, запретная мелодия юности. Хорошо, поди-ка, сейчас молодым людям за этим окном, отплясывают себе... Все у них впереди и вообще жизнь прекрасна. А у меня вот скверное настроение и ничего-то не ладится.

Приближаюсь к окну, поравнялся с ним. За стеклом – лицо молоденькой девушки, как-то тупо смотрящей на улицу. Так разителен контраст между энергичной музыкой – и абсолютной скукой, угнездившейся на милом девичьем личике.

Музыка в пустом доме... Заголовок романа?

* * *

В журналистской компании зашел разговор на волнующую всех тему – о любви. Меня попросили высказаться – и я ответил словами, сказанными задолго до меня и совсем по другому поводу: «Я знаю о ней только то, что ничего не знаю. Вот это я знаю точно». Отговорился, в общем, спрятался за цитату.

А если серьезно? Состояние любви — это счастливое попадание в параллельный мир, в тот мир, где все устроено самым наилучшим образом.

Только вот возвращение из этого мира в наш сродни возвращению с берегов теплого моря в холодную северную зиму...

* * *

Записная книжка Чехова. «На стуле лежал старый альбом с фотографиями, он был никому не нужен, а выбросить было неудобно». Цитирую, правда, по памяти, но смысл именно этот. И добавить к этому нечего. Вот матрица прожитой жизни большинства людей.

* * *

Киев. Вечером иду в оперный театр на «Риголетто»; основную арию поет кто-то из их звезд, то ли Гуляев, то ли Гнатюк. Поет хорошо, украинцы вообще голосистый народ. Но вдруг на сцену выходит обычная домашняя кошка. Ленивая такая, раскормленная. В зале оживление, все смотрят только на кошку. Певец нервничает, делает неловкий жест рукой, желая прогнать соперницу со сцены — и задевает фонарный столб. Столб — бутафорский, и тут же ломается пополам. Зал, однако, состоит из воспитанных людей и не хохочет во все горло, а лишь слегка подхихикивает.

Кое-как закончив арию, певец удаляется, а следом за ним — кошка. Что ж, свою роль в этом спектакле она исполнила на «отлично».

В антракте билетерша, как бы оправдываясь передо мной, говорит:

— Это интриги!

* * *

Возвращаюсь по Крещатику к себе в гостиницу... На проезжей части стоит женщина с загипсованной ногой, немолодая и некрасивая. На тротуар ей никак не подняться, нога не поднимается. На беспомощный взгляд никто не обращает внимания.

Подхожу к ней и говорю:

— Позвольте, я вам помогу.

Внимательно взглянув на меня, молча кивает головой. Слегка приподнимаю ее и ставлю на тротуар, потом, поддерживая, помогаю дойти до остановки троллейбуса. И поворачиваюсь, чтобы уйти.

— Рятуйте, люди добрые! — вдруг громко и жалобно кричит женщина за моей спиной. — Одна в Киеве добра людина — и тот москаль!

* * *

В ялтинском доме-музее Чехова пожилая женщина-экскурсовод в качестве бесплатного приложения к основной лекции поведала любопытную байку. Оказывается, во время съемок фильма «Дама с собачкой» режиссер разыскал старика, который в свои молодые годы, будучи извозчиком, много раз возил Чехова. Режиссер попросил старика рассказать о великом писателе. Подумав, бывший извозчик ответил:

— Скупой был. На чай ни разу не дал!

Для него Чехов был и остался простым пассажиром.

Для окружающих нас людей мы, чаще всего, просто прохожие. Кто бы мы ни были...

* * *

Тарханы, музей Лермонтова. На рояле в гостиной лежит белый батистовый платочек, принадлежавший

матери поэта. Ощущение такое, что она вот-вот войдет и скажет:

— Извините, я забыла свой платок. Но не буду вам мешать, господа...

Я чувствовал себя, как человек, пришедший в дом без приглашения.

* * *

Рязань, село Константиново, родина Есенина. Избушка, где он жил с родителями, — маленькая, почти игрушечная. Дом, в котором жила девушка, прообраз Анны Снегиной — тоже очень небольшой. По понятиям «новых русских» — лачуга.

Но когда стоишь на высоком берегу реки, кажется, что отсюда видно пол-России.

* * *

Попал в общество политиков, известных всей стране. Фуршет. Все с удовольствием выпивают и закусывают. На блюде лежит огромный омар, переливаясь всеми оттенками красного и розового. Все на него поглядывают, но никто не решается тронуть. Может, просто не знают, как его полагается есть?

Так он и остался лежать на блюде — большой, нарядный, красиво украшенный зеленью.

А может, они уже объелись омарами?

* * *

Объединительный съезд «Единства» и «Отечества». Президент произнес очень короткую речь и ушел, объявили перерыв. Вокруг каждого сколько-нибудь

известного политика — небольшие (или большие) группы людей: что-то спрашивают, выясняют, спорят. В партере третьего или четвертого ряда — одинокая фигура бывшего премьера. Никто не подходит, никому не интересен.

Или ему просто хотелось побыть одному?

* * *

«Я одинокий монах, идущий по миру с дырявым зонтиком». Это слова Мао-Цзе-Дуна, диктатора самой населенной страны мира.

Какое пронзительное чувство одиночества! Все на коленях — и никого рядом.

* * *

Северокорейский лидер Ким-Ир-Сен, обожеествляемый у себя на родине, как-то сказал любопытную фразу. Ее (очевидно, по недосмотру) опубликовали в журнале «Корея», который в доперестроечные годы выделялся своей глянцевой обложкой на фоне серенькой продукции, заполнявшей киоски «Союзпечати». После парадного посещения птицефабрики лидер горестно сказал:

— Мне уже шестьдесят лет, а мой народ еще не ест в достатке куриного мяса...

Может быть, он таким образом извинился перед своим народом? И на Олимпе у богов иногда сдают нервы.

* * *

По телевизору вновь крутят фильм сорокового года «Свинарка и пастух». Даже сейчас его смотреть весело. Только вот концовка смотрится несколько

зловеще: группа кавказцев на конях въезжает в русское село и увозит с собой русскую девушку...

* * *

Стою перед картой России, усеченной империи, скольжу взглядом с севера Европы на восток... и вновь думаю о том, что мы воевали, пусть и в разное время, чуть ли не со всеми соседями. Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Венгрия, Румыния, Турция, Персия, Афганистан, Япония... даже Монголия, если учитывать монголо-татарское нашествие. В историческом плане у всех этих государств есть, как говорят дипломаты, территориальные претензии к нам. Получается, что слабыми быть нам никак нельзя, даже если в русской душе и вправду есть «нечто бабье».

* * *

Хмурые русские города, с их унылыми пятиэтажками и деревянными окраинами. Их построили хмурые люди, месяцами не видящие солнца. Когда-то наших далеких предков вытеснили на эти северные территории более воинственные и лучше организованные племена. Так и получилось, что у нас много места (и полезных ископаемых), а у них много солнца.

Они к нам лезут за территориями, а мы к ним едем за солнцем. В конце концов, мы обречены либо на единую Европу, либо на вечные войны.

* * *

Хорошо одетый пожилой мужчина (судя по властному взгляду — бывший руководящий работник) тяжело опускается на скамейку рядом со мной. И то ли мне, то ли себе говорит:

— Раньше сердце болело либо за работу, либо от любви. Теперь болит просто так.

Помолчал, вздохнул и добавил:

— Зато раньше валидол не помогал, а теперь помогает.

* * *

Правильно говорят: какие песни слышишь в детстве, те и распеваешь всю жизнь. То же можно сказать и о книгах. Представитель «книжной цивилизации», я прочел массу литературы, но постоянно возвращаюсь только к четырем авторам: русскому Чехову, чеху Гашеку, еврею Ильфу (с Петровым, конечно) и поляку Тадеушу Квятковскому с его романом «Семь смертных грехов» (о странствующем монахе, брате Макарии).

Когда беседую с человеком, который может процитировать Чехова или вернуть фразу из бессмертного «Швейка», сразу проникаюсь к нему симпатией. Жаль, что такие люди встречаются мне все реже и реже.

Эпоха «книжной цивилизации» заканчивается.

* * *

Историк по образованию, я терпеть не могу исторические романы. Полковник контрразведки, никогда не читаю детективы. Этакий синдром рыбака: любит ловить рыбу, но есть ее наотрез отказывается.

* * *

Две беды: дураки и дороги? Как знать... Мне думается, Антон Чехов точнее обозначил нашу главную

беду, сказав: «Россия бедна государственными людьми». Наше будущее — в людях с государственным мышлением, и людей этих надо искать, растить и воспитывать. С той же истовостью, с какой тибетцы ищут своего далай-ламу.

Сами собой такие люди не появятся. А если и появятся, то будут похожи на плоды дикой яблони — красиво, да кисло.

* * *

Русские люди многое могут делать лучше других. Единственное, что нам никак не удастся — это обустроить свою жизнь. Гнилые домушки на окраинах. Законы, которые никто не может понять. Инструкции, напоминающие нерасшифрованные тексты древних народов. Население, которое на глазах становится все малочисленнее и малограмотнее. Растущая кастовость общества...

Хочется вслед за Шукшиным воскликнуть:
— Что с нами происходит?

* * *

Сидим с батюшкой за столом, употребляем водочку под маринованные грибки. По старой русской традиции я рассказываю ему о своих невзгодах. Батюшка слушает внимательно (не забывая при этом о том, для чего мы собрались). Выслушав, говорит проникновенно:

— А ты не мучайся! Господь все устроит.

В тупиковых ситуациях, когда я никак не могу найти приемлемое решение, вспоминаю эту спасительную формулу.

И действительно — все как-то устраивается.

* * *

Над Плещеевым озером беснуется гроза. Оглушительный гром. Молнии, раскалывающие черное небо, на миг отражаются в черной воде. Эти огненные трещины наводят на мысль об Апокалипсисе... но внезапно тучи расходятся и образуют в небе небольшое голубое окошко.

Это окно надежды. Оно раскрылось над русской землей. Хорошо, если бы надолго.

ФАЭТОН



* * *

Весна в деревне. На завалинке сидит мой давний знакомый, пожилой мужик Иван Петрович. Во времена Чехова таких называли уже стариками; впрочем, тогда и в пятьдесят лет могли записать в глубокие старцы. Сейчас старость помолодела, но к Петровичу это не относится: он, действительно, пожилой — пожил, повидал. Даст Бог, и еще поживет.

На нем подаренные мной, выдавшие виды галифе и военная гимнастерка с синими петлицами; на ногах валенки, на валенках — калоши из реликтовой красной резины. Помнится, достать такие калоши было голубой мечтой всех наших мальчишек, мы делали из этой резины дальнобойные рогатки. И как это такой дефицит уцелел, дожил до наших дней?

Знакомец мой слегка под хмельком — очевидно, хлебнул за обедом своей любимой свекольной бражки. Настроение у Петровича философское. Трудовую деятельность он закончил лесником, где, видимо, и приобрел привычку к созерцательности и философствованию. Любит задавать каверзные вопросы, но сам на них никогда не отвечает, предпочитает, чтобы это делал кто-то другой. Вот и сейчас, установив со мной зрительный контакт, которого я, как ни старался, не сумел избежать, закидывает привычную удочку:

— Николаич, ответь мне на один вопрос...

Обычно, видя его в таком состоянии, я стараюсь изобразить из себя крайне занятого человека и проскочить на полном ходу мимо, но сейчас это уже не получится.

— Только на один, и то, если он простенький. Например, спроси: куда я иду? И я тебе отвечу: иду купить картошки у другого соседа. Почему у другого? Потому, что у тебя ее вечно не хватает... самому,

поскольку у тебя психология обычного деревенского жмота.

— Это точно, — говорит мой собеседник, скребя заскорузлой рукой морщинистую шею. С утра он побрился явно тупой бритвой «Нева», оставившей на его щеках нескошеннные участки; горло же и шея вольно зарастают седой щетиной. — Это точно, Николаич. И все ж таки ответь мне: зачем все было-то?

— Что все?

— Да все... жизнь моя, мать ее, да и твоя...

— Эк тебя со свекольной-то повело! Ну, потерпи немного, я заскочу в магазин, куплю чего-нибудь, тоже хлебну, подумаю. Может, и отвечу.

— У кого ж мне еще спросить-то? Ты грамотный, целый полковник.

Бывший лесник — хороший психолог, он знает мою слабость к откровенной, без затей, лести. Да мне и впрямь хочется ответить, — и ему, и самому себе, — на этот вечный вопрос, и как-то совсем неожиданно для себя я присаживаюсь на завалинку рядом с ним.

— Знаешь, на Земле, за время существования разумной жизни, жило миллиардов десять людей, а то и больше. Это — еще до нас с тобой, а если считать с нами — так еще шесть миллиардов. И все эти люди — ну, почти все! — задавали себе вот этот самый вопрос, который ты мне сейчас задаешь. Самые умные головы сломали себе мозги, тонны бумаги исписали, рассуждая на эту тему — и ни хрена-то путного не сказали. Потому что ответа на твой вопрос нет, брат, в природе. Так что, Иван Петрович, грейся на солнце и жди меня — через полчаса буду с философским эликсиром. Посидим... может, что и надумаем?

— Тогда я пойду огурчиков порежу, — говорит Петрович, поднимаясь с завалинки. — И стопки принесу.

— А хлебхватишь? или мне купить?

Вскоре мы уже сидим с ним на лавочке, под распутившейся березой — и, закусывая хрустящими, засоленными на смородиновом листе огурчиками, предаемся неспешным рассуждениям. Тема у нас, правда, уже другая: когда начинать обрабатывать землю под картошку. Тут у нас с Петровичем разногласий мало, а сомнений нет и в помине.

Мало-помалу, впрочем, мы с ним переходим и к другим проблемам бытия...

* * *

Зачем все было? Этот же вопрос, помнится, задала мне не так давно совсем молоденькая девушка, усиленно делавшая вид, что ее интересует политика, а не замужество и наряды. Разозлившись на какую-то мою фразу, она с вызовом бросила, не особенно скрывая пробивавшуюся в ее голосе жалость ко мне, человеку с несложившейся, по ее мнению, судьбой:

— Ну, и чего вы добились в жизни, господин полковник? Государство, безопасность которого вы защищали, разлетелось на осколки, идеология, которой вы поклонялись — рассыпалась! И чем вы можете оправдать свое существование?

Я тогда, конечно, нашел, что ответить. Заводиться не стал, только посоветовал:

— А вы спросите у родителей, слышали ли они что-нибудь о терроризме в семидесятых-восемидесятых годах. В стране, в нашем городе. Они наверняка ответят: нет, не слышали. Мы не давали терроризму появиться на свет, мы обеспечивали нашему народу, измученному бесконечными революциями, войнами, репрессиями, спокойную жизнь. Сейчас это называется «эпохой застоя». Ладно, пусть так. Но лучше бы сказать: эпоха спокойствия. И мы, такие, как я, платили за это спокойствие своими нервами, здоровьем, про-

блемами в личной жизни. А народу пришлось платить за свою безопасность частью своей свободы. Но народ получил и реальную передышку — и в этом, наверное, и был смысл моей работы, работы моих товарищей...

Пока я произносил эту высокопарную речь, девушка уже начала листать глянцевого журнальчик. Она явно скучала.

Что им до прошлого, до нашего прошлого. У них будет свое.

Если, конечно, будет хоть какое-то настоящее.

* * *

Но слова ее меня, и вправду, задели. Потому, что я часто задавал похожий вопрос и самому себе. Правда, не в такой вот «оправдательной» плоскости; желания оправдываться ни перед своими ровесниками, ни перед кем бы то ни было, у меня как-то не возникает. Тут другое.

Помнится, в отроческие годы я вышел однажды из дома на февральскую морозную улицу и подошел к долговязому тополю, который закутанная по самые глаза тетка в этот момент подстригала ножницами на длинном шесте — почти наголо, как новобранца. Подобрал несколько веточек, вернулся домой и, наполнив зеленую бутылку из-под «Жигулевского» водой, сунул ветки в узкое горлышко. Они обрадовались теплу и воде, и уже через несколько часов в бутылке появились маленькие пузырьки, предвестники жизни. Через три дня твердую кожуру почек стали пробивать зеленые иголки, а еще через несколько дней у меня на окошке был натуральный месяц май: тополь распустил свежие листочки назло февральской вьюге.

К весне ветки пустили белые ниточки корней и, когда потеплело, я посадил одну из них на дворе. А потом... потом эта веточка превратилась в высоченный тополь.

Лет пять тому назад я побывал в родном дворе, подходил к своему питомцу. Он, правда, сделал вид, что не узнал меня. Люди тоже так часто поступают... что ж, Бог им всем судья. Но история с тополем на этом не закончилась.

Совсем недавно я вновь заглянул в те места. Моего тополя на привычном месте уже не было, он сломался при сильном ветре. Его спилили, и на пеньке сидела маленькая девочка в красном пальтишке, положив на коленки ручки, испачканные песком. Когда она, вдоволь насидевшись, побежала в песочницу лепить свои пирожки, я подошел к пню — и сосчитал годовые кольца. Их было больше сорока. Светлый срез дерева был похож на звуковую пластинку, с ее дорожками... мелодии чьих жизней были там записаны? Может быть, и моей? Я всю жизнь торопился, стараясь не опоздать, все время куда-то спешил, то в самолете, то в поезде, то в машине (а то и в деревенских санях, сидя на пахучем зеленоватом сене), я изучал чужие жизни по маленьким эпизодам, и никогда у меня не было времени, чтобы понять свою.

Теперь у меня этого времени сколько угодно. Штатский человек.

Сидел на пеньке, оставшемся от дерева, которое я посадил в юности — и смотрел на Волгу. Смотрел как-то по-новому, а не как на привычный пейзаж. Вот так, наверное, взрослый мужик от нечего делать открывает завалившийся где-то учебник, по которому учился его сын — и с удивлением читает забытые, избитые истины. Волга впадает в Каспийское море. Москва — столица нашей родины. Партия — наш рулевой. Я когда-то поверил этому на слово. А может, стоило бы и проверить, так ли это? Я же привык все проверять, это было моей профессией...

Я все делал по правилам: посадил дерево, да и не одно, вырастил сыновей, написал книгу... но что

в итоге? Дерево, которое я посадил, рухнуло от сильного ветра, мои сыновья живут своей жизнью, а судьба моих книг мне самому непонятна. Да, еще есть дом... но он построен чужими руками, понемногу ветшает и уже требует ремонта. А что у меня есть еще? Неужели только моя прежняя служба? Точнее, воспоминания о ней...

Поеду, решил я. Теперь уж точно поеду, как мечтал когда-то, помотаюсь от причала к причалу, проверю азбучные истины, узнаю, действительно ли Волга впадает в Каспийское море. А то, может, уже и нет?

То, что Москва — уже не столица СССР, я знаю точно.

* * *

Волга — это временной коридор между прошлым, настоящим и будущим. Обычный белый пассажирский теплоход, шедевр кораблестроения ГДР конца пятидесятых лет, при известной доле воображения легко превращается в машину времени. Плыви от причала к причалу — а мимо тебя будут плыть то земли русских княжеств, то царство волжских булгар, то скифские степи... Здесь, на этих необозримых пространствах, сталкивались народы и цивилизации, здесь терлись друг о друга гигантские тектонические плиты — а на местах соприкосновения вспыхивали, как искры, жестокие схватки, сменяющиеся редкими временами покоя...

Лет тридцать тому назад на этом самом теплоходе по Волге путешествовали мои родители, тогда еще совсем не старые люди. А теперь вот, по тому же маршруту, еду я.

А кто это — я?

Если не врут биологи, люди на восемьдесят процентов состоят из воды. Наверное, и я состою из воды. Из волжской воды. Я — ее часть, ее рябь, ее волна, ее свинцовый цвет в хмурые дни, ее синева под летним солнцем и, наверное, ее память о прошлом.

* * *

В последних главах Апокалипсиса есть образ дерева жизни, реки жизни. Я много раз пытался представить себе это дерево и эту реку — и всегда у меня перед глазами вставала Волга. Много споров о том, от какого слова произошло имя великой русской реки. Ближе всего, думается мне, слово «влага», по сути — вода. Живая вода Волги и питает, и сближает уже тысячи лет многие народы... многое из того, что описано в Апокалипсисе, прогремело на этом огромном пространстве... но, кажется, еще не все?

И, вместе с тем, Волга — это всего лишь веточка упомянутого Иоанном Богословом мирового древа жизни, с редкими листиками озер и водохранилищ.

По ней, по этой голубой веточке, медленно, словно муравей по волнистой коре, начинает двигаться мой кораблик, изготовленный в несуществующей уже стране.

* * *

Вскипают за бортом буруны, пенится тяжелая, с желтоватым оттенком, вода, и медленно, словно нехотя, удаляется от меня родной причал. Острое крыло чайки режет пространство, а резкий ее крик — мой слух... всё, как всегда. Но почему же тогда я так волнуюсь? Ведь я наперед знаю все повороты этой реки, все ее плесы, заводи и острова, все города, стоящие на ее берегах...

* * *

Рыбинск. Столица бурлаков. Всем нам кажется, что бурлаки — это было так давно... а давно ли? Мне рассказывала моя бабушка, что бурлаки частенько останавливались на отдых как раз напротив ее села, стоявшего на самом берегу. Они, деревенские мальчиш-

ки и девчонки, сбегались посмотреть, как эти здоровые, костистые мужики варили себе «кашицу» — так называлось основное бурлацкое блюдо, для приготовления которого использовали все, что было под рукой.

Когда кашица была готова, мужики приглашали детей отведать их кушанье. Бабушка говорила, что это было вкусно.

Вот вам и связь времен, У Гамлета она распалась, а у нас — нет. Все рядом, все живо.

* * *

Шексна, электростанция, шлюзы... как мне все это знакомо!

На территории знаменитого «Волгостроя», где тысячи заключенных занимались сооружением водохранилища, появились много лет тому назад крошечные дачки служилого и рабочего люда, сделанные Бог знает, из каких материалов. Люди, в большинстве своем недавние выходцы из деревни, мертвой хваткой вцепились в эти неудобные участки. И на наших нищих рынках вскоре появились невиданные прежде клубника и смородина, а потом и местные кисловатые яблоки.

К этим дачам примыкали небольшие перелески, куда мои сверстники и я поначалу бегали собирать грибы. После каждого дождя мы находили в этих перелесках, среди молодых сосенок, белые человеческие черепа. Сколько людей осталось в этой земле? Кто их считал?

Потом мы заметили, что, кроме нас, в эти перелески никто не ходит. И мы тоже перестали, переключившись на рыбалку.

* * *

Здесь, в устье Шексны, мужик однажды при мне поймал на удочку настоящую стерлядь — небольшую,

всю в горбинках, рыбину. Слух об этом быстро распространился по берегу — и вскоре вокруг рыбака собралась целая толпа: всем хотелось посмотреть на диковину.

А лет пятьдесят тому назад, как мне рассказывали родители, стерлядь была обычной добычей местных рыбаков, никаким не деликатесом.

Волжские электростанции осветили и обогрели наши города, но плата за это оказалась непомерно высокой. Может быть, скоро такой же диковиной станет обычный, полосатый с красными плавниками, окушок?

Ту стерлядку мужик так и не отпустил в воду, хоть его об этом и просили, унес домой.

А вдруг это была последняя стерлядь?

* * *

Впрочем, что — рыба... судаки и лещи пока водятся. Люди бы не перевелись.

* * *

Кораблик повторяет изгиб реки — и сквозь мерный шум двигателей вдруг становятся слышны визгливые звуки гармошки: рыбак, сидящий в резиновой лодке и обложенный стволами удочек, видимо, заскучал от бесклевья. С чувством, хотя и сильно фальшивя, он исполняет знаменитое «Когда б имел золотые горы...», и по всему видно, что эти самые горы он уже обменял на реки, полные вина. Аудитория у певца в эту минуту самая подходящая: целый теплоход соотечественников и иностранцев.

Вообще-то, рыбаки — народ молчаливый. Но песни здесь, на реке, звучали всегда. Правда, иногда довольно неожиданные.

* * *

Тутаев... Именно здесь, в маленьком волжском городе, стоящем на высоченном обрывистом берегу, сошел однажды, давным-давно, парень с гитарой. На старинном колесном пароходе мы с приятелем возвращались из Москвы домой, было часов одиннадцать вечера, был закат, которому скоро, без всякого перерыва на темноту, предстояло стать рассветом, а парень, постарше нас лет на десять, сидел на корме и пел — песню за песней. В одной из них были слова, которые я помню до сих пор:

Неужели не вспомнишь,
Не заплачешь мне вслед?
Ну, а я буду помнить
Тебя тысячу лет...

Эти незамысловатые строчки как-то очень легли на настроение двоих влюбчивых пятнадцатилетних мальчишек — и я, улучив минутку, спросил у парня, что это за песня. Он не ответил, продолжая петь. Ни одной из его прекрасных песен, в основном, печальных, мы никогда раньше не слышали.

Исчерпав свой репертуар, парень отложил гитару в сторону и как-то нехотя заметил, что эти песни пел его дед, офицер белой армии.

Он сошел в Тутаеве, взобрался по нескончаемой лестнице наверх, махнул нам с нее рукой — и исчез. Вместе с песнями.

«Врет, собака, — единодушно решили мы с приятелем. — Разве у врагов могли быть такие красивые, берущие за душу песни? Брешет!..»

Вот интересно, знал ли тот парень тогда, что Тутаев до Октябрьского переворота назывался Романово-Борисоглебском? Думаю, знал. Но того, что взгляд на новейшую историю России кардинально изменится

уже в конце восьмидесятых — он, конечно, и предположить не мог. Просто пел красивые песни....

* * *

Странно: люди жили в те времена трудно, но почему-то не особо печалились. В праздники эта самая песня, про реки, полные вина, слышалась почти из каждого окна. Ну, и еще про удалого Хаз-Булата... две вечных темы, любовь и деньги. А сейчас, я заметил, перестали петь даже домохозяйки. Видимо, сказывается сильное загрязнение окружающей нас песенной среды.

* * *

Солнце играет на волнах — и мириады маленьких солнечных осколков вспыхивают одновременно, словно стараясь остаться незабытыми. Так и моя память: одновременно воспроизводит сотни эпизодов из моей жизни. Каждый из них, даже самый маленький, не хочет пропасть бесследно — сияет, безмолвно кричит из самого дальнего далека: я здесь!.. я есть!..

Но иногда такой вот вспомнившийся эпизодик так кольнет...

* * *

Начало перестройки. Еду в автобусе с работы, за окном стоит промозглая осенняя темень, которую с трудом растаскивают в стороны слабые лучи уличных фонарей. На коленях у меня лежит дипломат — далеко не новый, но все еще достаточно элегантный, отливающий черным блеском. В таких дипломатах обычно возят важные документы.

У меня, правда, там лежит всего лишь кусок красноватой колбасы, доставшийся по случаю, да еще свежие газеты, переполненные радостью по поводу идущих в стране демократических процессов.

Напротив меня сидит хмурый мужичок с лицом, выдающим регулярно пьющего человека. Поэтому возраст мужичка для меня загадка: ему тридцать? пятьдесят?

Он долго, с ненавистью смотрит на мой дипломат и неожиданно говорит, кривясь:

— Скоро мы таких, с дипломатами, резать будем.

— А за что? — интересуюсь я, уже готовый ко всему и очень сожалеющий, что со мной нет моего доброго друга «Макарова».

— А так... нечего тут! — отвечает он и, провожая меня ненавидящими глазами, выходит на своей остановке.

Энергия злобы. Она накопилась и искала выхода.

Где она прорвется? на кого выльется? Этого тогда не знал никто.

* * *

Впрочем, и в те времена немало находилось поводов для улыбки... Даже напрягаться не приходится, чтобы вспомнить митинг на стадионе в Ярославле: стоит перед глазами. Народу тогда собралось — как на футбольный матч. Для одних это был способ выяснить политические позиции, для других — бесплатное шоу, каких раньше не видывала советская публика.

Небо хмурится, но народ стоит плотно, уходить не собирается. Выступает известный борец с коррупцией того времени, ныне прочно забытый Тельман Гдян. Рядом с ним, таким великим, наши местные политики чувствуют себя неуютно — и неприкаянно стоят рядом, не зная, чем занять себя. Начинает моросить мелкий дождь, но слушатели, увлеченные пламенной речью обвинителя узбекской мафии, этого не замечают. Зато в рядах местных политиков возникает оживление: один из них, быстренько куда-то сбежав, приносит с собой большой черный зонт. Раскрыв его над оратором, он

стоит рядом с заезжей знаменитостью все время, пока эта знаменитость громит коррупцию.

На лице начинающего политика написано абсолютное удовлетворение своей ролью. Кажется даже, что этот человек нашел, наконец-то, свое настоящее место в политической жизни.

* * *

Совсем недавно я попал на очередную политтусовку. Бросилось в глаза, что сегодняшние юные демократы — все поголовно в модных галстуках красного цвета. Раньше такие галстуки носили комсомольские боссы разного калибра.

Нынешние функционеры, судя по их розовощеким лицам и умненьким взглядам, тоже были бы в те времена комсомольскими активистами. Но им досталась другая эпоха.

Другое время — другие песни. Пристрастие же к подобным галстукам — это, наверное, что-то глубинное, генетическое...

* * *

Пароходик, прицелившись, медленно подползает к Костромскому причалу. С Волги город выглядит так же, как и на старинной, в вензелях, коричневой открытке столетней давности, только огромные мраморные постаменты, на которых когда-то стояли фигуры царей, давно уже сменили постояльцев. На берегу я по привычке отрываюсь от нашей экскурсионной группы, хотя успеваю еще с почтением осмотреть вместе со всеми памятник Ивану Сусанину — первому, как шутят костромичи, экскурсоводу, водившему по здешним краям иноземных туристов и спасшему таким вот путаным путем русскую государственность. С тех пор иноземцы не часто посещают Кострому, а если уж

и нагрывают — то не со злом, а с добром. С долларами, то есть.

Брожу у реки, кидаю в воду плоские камешки, пытаюсь, как в детстве, «испечь блины», останавливаюсь, вдыхая запах свежего волжского ветерка... Среди камней, нагретых полуденным солнцем, нахожу позеленевшую от времени медную монетку. Полушка, половина копейки. Да, крепок был российский рубль, раз даже копейку приходилось располовинивать...

Крепок был и советский рубль. Только вот ни российская империя, ни советская держава не устояли, рассыпались... а в чем причина? Только ли в экономике?

Может, каждое государство, как и человек, имеет свой предельный возраст? За ним — небытие, распад... но и новая жизнь?

* * *

Я часто вспоминаю те времена — когда единое, как нам тогда казалось, тело советской державы вдруг начало трескаться — и трещины эти на наших глазах становились все шире, все черней. Правда, многие детали уже затерялись в глубинах памяти — и все «перестроечные» годы слились для меня в один бесконечный рабочий день: митинги, демонстрации, забастовки, озлобленные лица людей, уставших от нехватки самого необходимого, угроза потери контроля над ситуацией — вполне реальная угроза, которая могла привести к крови на улицах наших городов... Да, нам было тогда не до цвета галстуков.

Поистине историческую фразу произнес в те дни наш генерал, которому предложили «использовать силовые методы»:

— Казаков у меня нет.

Да, были только мы. И мы работали тогда, чтобы предотвратить гражданскую войну, последствия кото-

рой в стране, обладающей ядерным оружием, были бы страшными. Как знать, не появились бы тогда вновь на нашей земле вооруженные иноземные экскурсанты? И помог бы здесь Иван Сусанин? Не знаю...

В те времена мне немало пришлось поездить и повидать. Особенно остро запомнилась Украина: шествие по Киеву ряженных казаками мужиков в синих шароварах и расписных рубахах. У каждого бутафорская шапка на боку, каждый славит каких-то неведомых атаманов... С моим акцентом на сборищах этих мужиков лучше было не появляться. Но помню я и искренние слова обычных, не ряженных людей: «Неужели Россия бросит Украину?»

Треснула огромная держава по искусственно проведенным когда-то границам, треснула на куски, большие и маленькие. И полетели, отдалившись друг от друга, осколки великой цивилизации в безграничном космосе — каждый по своей орбите. И страшно им лететь поодиночке, и опять они начинают потихоньку приближаться друг к другу... но, приблизившись, отталкиваются вновь...

* * *

В большом городе Западной Украины, куда я попал всего-то на денек, в магазине польской парфюмерии с названием «Урода» (что в переводе, как оказалось, означает прямо противоположное — «красота»), купил в подарок любимые советскими женщинами духи «Быть может». Спросил шутя, что означают и эти слова. Оказалось, они означают «да». А совсем не «может быть», как я предполагал. Все у них как-то не так...

Девушка-полька, с веснушчатым круглым лицом простолюдинки и в каком-то несурзном, по моим понятиям, деревенском платье, обращаясь ко мне, назвала меня «паном».

Я и «пан» — вещи совершенно несовместные. Но, чтобы сделать ей приятное, я ответил единственной фразой по-польски, которую когда-то выучил:

— Есче польска не згинела!

Она улыбнулась кокетливо, как умеют улыбаться девушки только двух стран, Польши и Франции — и как-то очень смиренно ответила по-русски, но с легким польским акцентом, заменяя «л» на «в»:

— Не сгинева, конечно. А если и сгинет — вам что?

Я подумал: и действительно...

Вот только как быть с полонезом шляхтича Огинского? Эта волшебная музыка вечно будет звучать в душе русского народа. Даже только поэтому Польша никогда для нас не сгинет. Быть может...

Удивительный зигзаг истории: впервые за несколько столетий у нас с поляками почти не осталось общей границы. Единственная маленькая калитка — в Калининградской области, оторванной от остальной России.

Может, так спокойнее? И им, и нам... История развела нас.

* * *

Опаздываю на поезд. До Калининграда осталось сорок километров, в запасе у нас тридцать минут. Едем на оперативной машине с опытным водителем, но, как мне кажется, медленнее, чем могли бы.

— Что вы так скромничаете? — спрашиваю прапора, сидящего за рулем.

— Да вон... последних солдат вермахта боюсь...

— Вермахта?

— Да вон они, вон!.. Целый полк, не меньше.

Он кивает головой на строй вековых деревьев с огромными кронами, стоящих плотной дисциплинированной шеренгой вдоль узкой дороги.

— Пруссаки когда-то посадили... народу тут бьется много, чуть недоглядел — и воткнешься.

На поезд мы попали за две-три минуты до его отхода. Солдаты вермахта — противник серьезный, даже если это всего лишь деревья вдоль дороги.

* * *

В маленьком уютном городишке русской Прибалтики, которая раньше была Восточной Пруссией, чувствуешь себя так, словно попал в царство стариков. Немецких стариков: повсюду гуляют группы старых и очень старых немцев. Они подходят к домам, утопающим в цветниках, подолгу смотрят, трогают облупившиеся стены. Потом медленной шаркающей походкой уходят к своим сияющим дворцам, которые лишь с оговоркой можно назвать автобусами.

Пожилая длинноносая дама с недовольным лицом спросила у меня на очень плохом русском, как найти нужную ей улицу. Объяснила, что ищет дом, где она родилась и жила с родителями до войны. Старый опрятный немец стоял рядом, но ничего не говорил. Судя по всему, призывник 1941 года. Может быть, он и вспоминал русский язык... но только вот ничего, кроме «Хэнде хох» или «Гитлер капут», не мог вспомнить.

Еще один последний солдат вермахта. Но уже не опасный. Наши отцы постарались.

* * *

Когда заришься на чужой дом, всегда есть риск потерять свой. Но я не стал этого им говорить... да они бы и не поняли меня.

А где та улица, которую они искали, я не знал. Честно говоря, и знать не хотел.

* * *

Тогда меня почему-то поразило сходство этой дамы с вороной, которую однажды я увидел на березе посреди ячменного поля, покрытого голубыми пятнышками васильков... Длинноносая, она сидела на сухой ветке и, изредка поворачивая голову туда-сюда, время от времени недовольно каркала, по-французски грацируя.

Я тогда подумал: может, эта ворона прилетела сюда из Парижа? Ей явно было тут не по себе, как-то одиноко. Да и акцент у нее был явно не вологодский....

* * *

Птицы пока летают через границы свободно. Не поэтому ли известная литературная героиня и спросила: «Почему люди не летают?»

* * *

Мечты о свободе... как странно они иногда воплощаются в жизнь, я увидел в те времена воочию. Через территорию бывшей советской Эстонии, крохотной частички планеты СССР, мы ехали, как Ленин с соратниками через Германию — по сути, в таком же запломбированном вагоне. На границе в вагон зашли несколько элегантных девиц, одетых в кокетливую форму. Из всех сил изображая полномочных представителей иностранного государства, они произвели визуальный осмотр нашего багажа. Впрочем, никуда особо не совались и ничего не трогали — Эстония тогда еще не вошла в НАТО. Но уже входила во вкус.

Теперь уже, кажется, вошла окончательно. И туда, и сюда.

* * *

Из окна вагона я увидел неторопливо бегущую лису, очень похожую на облезлый рыжий воротник, удравший от пальто. Эстонскую лису. Полностью независимую.

* * *

Отходим от Костромы. Матрос с причала, отвязав канат, бросает его на борт нашего теплохода, канат не долетает. Эх, неумеха...

В нашем небольшом волжском городке, когда хотели подчеркнуть никчемность парня, говорили: «Ну,

этот чалочником будет». Имелось в виду: хуже уж ничего и быть не может. А между тем, именно от чалочника зависит, надежно ли стоит корабль у причала, или его легко отнесет шальной волной и ветром — и трап вместе с людьми грохнется в воду... спасай потом!

Нет, не правы были те, кто считал эту профессию пустячной. У нашего российского причала пришвартовалось в свое время много кораблей, да вот чалочники оказались никудышными — ненадежно закрепили канаты за крюки. Подул западный ветер, погнал волну — и ослабли канаты, и задрейфовали корабли, каждый сам по себе.

Правда, некоторые говорят: это временно, поплавают-поплавают, да и опять причалят к нашему берегу, ведь у других причалов их не ждут.

Именно такую мысль высказал однажды мой знакомый, заядлый рыболов, любящий посидеть с удочкой неподалеку от причала. У него как раз клевало и настроен он был оптимистически.

В прошлом этот любитель поудить был капитаном небольшого волжского пароходика, и в молодости начинал, как все моряки, чалочником. Заканчивает, правда, уже как все люди — философом.

* * *

Вот уже и Кострома скоро скроется из виду. Она на глазах становится все меньше и меньше, в конце концов, опять суживаясь до размеров старинной открытки. Интересно, где именно кинулась тут в воду Катерина из пьесы Островского? И неужели так смертельно любили в прежние времена? Нынешние девушки гораздо практичнее — и в аналогичной ситуации обошлись бы парой бутылок пива.

А может, это и не так? Может, всем им и во все времена, как и Катерине, смертельно хочется любить и быть любимыми?

* * *

Вообще говоря, женщина всегда останется загадкой для мужчины. Сколько уж раз я убеждался в этом, а все никак не привыкну. Однажды в Финляндии произошел совсем уж удивительный случай...

Молодой и высокий финн, одетый так, как одеваются все женихи мира, стоял рядом со своей невестой перед новеньким, с иголки, собором. Лицо у парня — абсолютно никакое, то есть все на месте, но запомнить невозможно. Невеста несколько полновата, а личико примерно такое же, как и у жениха. Парень как-то растерянно поглядывал по сторонам, словно искал кого-то, невеста смотрела прямо перед собой, не отвлекаясь.

И тут из группы наших туристов, глазеющих на финскую свадьбу, вперед вышла самая красивая — совершенно неотразимая, прямо блоковская! — молодая женщина. Она знала свою силу, силу красавицы, какие в той стране не водятся — и, перехватив восхищенный взгляд жениха, уже не отпускала его.

Молодой финн смотрел на нее, не отрываясь... и тут произошло нечто совсем уж неожиданное: повернувшись всем телом, словно гвардеец перед входом во дворец английской королевы, он безнадежно махнул рукой и начал медленно уходить, удаляться.

Невеста недовольно посмотрела ему вслед, но не двинулась с места. Жениха, однако, тут же догнали два парня и после минутных переговоров возвратили на место.

Мы к этому времени уже сели в свой автобус и вскоре уехали, так и не увидев, что же там было дальше.

— Зачем вы так смутили парня? — смеясь, спросил я нашу красавицу, — вы ж чуть жизнь ему не разбили...

Она посмотрела на меня своими огромными карими глазищами и грустно сказала:

— Вы не поверите, но он мне понравился. За такого бы я и замуж пошла, не задумываясь. Как красив!

Тогда я точно понял, что разбираюсь только в женской красоте. А вот моему соседу Гоше понравилась как раз финская невеста, он ее вспоминал целый день, надоел всем.

* * *

Впрочем, что такое — день? Некоторых женщин можно вспоминать всю жизнь...

* * *

Маленькая, подсвеченная полуденным солнцем, волжская пристань. Мы с приятелем только что сошли с речного трамвайчика — веселые, возбужденные. В руках у нас — корзины, полные грибов; роскошное разноцветье шляпок мы нарочно не стали закрывать березовыми ветками — пусть все видят, сколько набрали! Генка незаметно включил транзисторный приемник, который лежал у него в кармане куртки — и на всю пристань понеслось:

Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость...

Народ оглядывался на нас, а мы с Генкой, очень довольные произведенным эффектом, шествовали важно — грудь вперед... и тут вдруг мимо нас прошла, обдавая каким-то нездешним ароматом, девочка лет четырнадцати-пятнадцати, красоты необыкновенной. Прошла мимо, даже не взглянув на двух мальчишек, одетых в промокшее старье и черные резиновые сапоги.

На берегу ее ждал взрослый мужчина, видимо, отец. Она села в новенькую, сверкающую никелем «Волгу» — и умчалась от нас...

Генка посмотрел на меня своими печальными украинскими глазами и внезапно сказал:

— Алик, давай назовем ее — Фаэтон.

Это имя носила, как считали тогда, планета Солнечной системы, однажды разлетевшаяся на астероиды и исчезнувшая навсегда.

Я молча кивнул.

* * *

Лет через двадцать мы встретились с Генкой у него дома.

— А помнишь Фаэтон? Ну, ту девчонку... — спросил я.

Мой друг угрюмо посмотрел на меня, на свою небогатую комнату, всю завешенную детскими пеленками — и молча налил мне стакан водки.

Он помнил, конечно.

* * *

Мы обегали тогда весь город, в надежде где-нибудь ее встретить. Но нет: сверкнула и исчезла в каком-то своем космосе, куда нам явно было не долететь...

* * *

Но еще задолго до нашей с Генкой грустноватой встречи, однажды поздней осенью, у самого берега Волги я увидел зеленую лодку-плоскодонку и парочку в ней — мужчину и женщину. Женщина сидела спиной ко мне, потом повернулась в профиль — и у меня защемило сердце: она? не она?

На носу лодки стояла длинная вытянутая бутылка сухого вина и два белых, легких пластмассовых стаканчика, которые осенний ветер норовил сбросить в воду, — но мужчина вовремя их ловил. Я шел мимо и видел, как он разливал вино, как эти мягкие стаканчики продавливались под его пальцами, я слышал, как оба

они, — и мужчина, и женщина, — вполголоса напевали песню о косых дождях. Видно было, что им хорошо вдвоем, но почему так грустно?

И мне... и им...

Это было как секундное вторжение в параллельный мир, где люди похожи, но все иначе. В мужчине, сидевшем в лодке рядом с Фазтон, я узнал чуть повзрослевшего себя.

Там все сбылось...

* * *

Количество энергии в природе — постоянно, если, конечно, физики не врут. Но любовь — ведь это тоже энергия!

Куда же она убегает? По каким проводам? К кому?

* * *

Всю ночь льет дождь. Утром я выхожу на скользкую палубу и вдруг вижу в небе сразу три радуги: одна яркая, четкая, другая — послабее, а третья еле просматривается.

Завороженный, как будто увидевший чудо, я люблюсь на эти огромные, семицветные арки, зависшие над показавшимся вдаль Нижним Новгородом. Стою и смотрю, пока они не растворяются в небе.

* * *

Нижний... единственный город, от старого названия которого, — Горький, — мы все очень быстро отвыкли. И то правда: ну, какой он, к черту, «горький», этот волжский красавец? Скорей уж, Ален Делон в молодости...

* * *

Местный кремль почему-то напичкан разным оружием времен Великой Отечественной: танки, пушки,

зенитки. Но в стороне, в центре, есть мирный уголок, где у старинного старообрядческого креста, окруженного со всех сторон современными зданиями, стоит группа староверов. Они истово крестятся двумя перстами, не обращая внимания на смотрящую на них во все глаза толпу туристов и просто зевак.

Среди молящихся много молодых людей. Как, должно быть, далеки они от стоящих рядом их сверстников!

Две эпохи мирно сосуществуют друг с другом, но молятся разным богам.

* * *

Площадь в Нижнем, — та самая, где Минин и Пожарский собирали ополчение, — маленькая и тесная. Именно здесь долго и нерешительно топталась в свое время история России: то ли двигаться, то ли еще погодить. А потом все-таки двинулась вперед, на Москву.

Польский король так и не стал тогда русским царем. Получилось, со временем, даже и наоборот.

* * *

«Нет ничего дороже независимости и свободы», — это сказал однажды маленький, худой вьетнамец с тощей бородкой, дядюшка Хо, заставивший и французов, и американцев уважать свою крохотную страну.

Мы, русские, тоже непобедимы, когда отстаиваем свою независимость. А вот свободу.. на свободу у нас еще не выработался общенациональный взгляд. Слишком по-разному мы понимаем ее, свободу.

Кажется, и она нас понять никак не может. Пока.

* * *

После того, как председатель правительства СССР Алексей Косыгин, благополучно поохотившись, уехал, я с группой офицеров-коллег возвращался домой. По

дороге, естественно, затормозили у сельмага. Пока стояли в очереди, парень из местных рассказал то ли быль, то ли анекдот об этом селе: будто бы после реформы 1861 года тут поселились отпущенные на волю дворовые люди из близлежащих помещичьих усадеб. Отвыкшие за время пребывания в барских покоях от тяжелого крестьянского труда, они, получив свободу, сначала занялись, кто чем: одни — торговлишкой, другие — промыслами... только вот дело ни у тех, ни у других никак не задавалось. Привитая за долгие годы уверенность в том, что «барин прокормит», сыграла с ними дурную шутку.

Не похожи ли и мы сейчас на бывших дворовых из того живописного, но порядком подразвадившегося села? От самостоятельности отвыкли, а доброго барина рядом уже нет.

Ну да, как говорят на Руси, нужда научит горшки обжигать. Только вот барина бы не надо...

* * *

Именно в тот год кругом полыхали лесные пожары, голубая дымка окутала город — и в безветренную погоду дышать становилось тяжело. Нас с коллегой, молодых лейтенантов, откомандировали на изучение обстановки в одном из районов. В первом же горящем лесочке мы этим и занялись.

Я сошел с дороги, чтобы посмотреть, где и что горит — и тут же по колено провалился: оказывается, почва снизу вся выгорела. Никто нас не предупредил, что там, где есть торфяники, такое возможно. Бог меня упас...

Больше с накатанного пути мы не сходили. Через час заехали в деревню, что стояла по дороге, домов эдак на двадцать. Вокруг нее с двух сторон уже вовсю горел лес, но никто даже не пытался его тушить. Предсе-

датель колхоза, пожилой мужик, не опуская глаз перед нашими натренированно-суровыми взглядами, на вопрос, почему он ничего не предпринимает, ответил коротко:

— А кто платить будет за работу?

По молодости лет, мы несколько оторопели. А потом проямлили:

— Так ваш же лес, вы же тут живете...

— Наш, — усмехнулся колхозный вожак, — наш, конечно...

Он еще немного постоял вместе с нами, а затем неторопливо пошел скликать народ.

Для контроля мы заехали в эти места на другой день: чумазые, потные мальчишки в курсантской форме споро окапывали тлеющий лес. Местных колхозников мы там так и не увидели.

Мне тогда подумалось: в этой деревне тоже, наверное, жили потомки дворовых людей. А кривая усмешка председателя долго еще не выходила у меня из головы. Как и его согласное покачивание головой: наш лес, конечно же, наш...

* * *

Похожих случаев на моей памяти даже несколько. Однажды большую группу наших офицеров — от лейтенантов до полковников — вывезли в другой колхоз, косить траву. Мы, понятное дело, долго ворчали, рассуждая о том, что трава, скошенная высокооплачиваемыми сотрудниками КГБ, будет поистине золотой. Однако, когда вышли в поле, когда увидели росистое русское разнотравье и вдохнули запах полевых цветов, недовольство наше исчезло, взялись за работу.

Истинные горожане, косить мы, конечно, совсем не умели: тупые, неотбитые лезвия только гладили траву, наши косы то и дело втыкались в землю... но приказ есть приказ, травы для несчастных колхозных коров

мы накопили тогда много. Правда, и косы почти все переломали.

Представители коренного населения, спеша мимо нас по своим, крайне неотложным делам, сердобольно давали нам разные полезные советы, а некоторые даже говорили сердечное некрасовское спасибо. Но косу в руки, помнится, никто из них так и не взял.

Полусладкое словацкое вино, в изобилии обнаружившееся в местном сельмаге, несколько примирило нас с суровой колхозной действительностью и снизило уровень наших критических высказываний относительно организации труда в отечественном сельском хозяйственном производстве. Но на косьбу нас больше не посылали: ведь и орудия труда мы переломали, и сельмаг оставили без товара.

Следующий наш выезд был на морковь. Тут дело пошло спорей: копать — это по нашей части.

* * *

Вот и сейчас копаюсь — но уже в собственной памяти, пытаюсь вспомнить хоть что-то о Чувашии, чьи земли мы сейчас проплываем. Ничего не помогает. Как бы сейчас пригодилась мне любимая когда-то книга «Основы этнографии» — валяется где-то на даче, всеми забытая...

Ну, да ладно, сам все узнаю. Сойду сейчас на пристань, шагну в город Чебоксары — разноцветный, словно сложенный из детских кубиков руками веселого и некапризного ребенка...

* * *

Серое бетонное ограждение на чебоксарской набережной сплошь исписано призывниками, уходящими в армию. Последнюю свою ночь перед отправкой они посвятили этой разновидности художественного творчества: в ход шли и баллончики с краской, и разноцветные фломастеры, и простые шариковые ручки.

Но это не «Стена плача», а стена признаний в любви, стена клятв в верности.

Самая лаконичная надпись — такая: «Коля ушел на фронт. Октябрь, 2001 год».

Послания в вечность. Забор шедевров.

* * *

«У каждого поколения должна быть своя война». Это слова Мао, сказанные им во времена культурной революции.

Неужели это сказано и о России тоже?

* * *

Войны, войны... видывал я людей, выживших аж в нескольких войнах. Дед Андрей, наш деревенский сосед, ветеран гражданской, финской и Второй мировой, дожил до девяноста с лишком. Большой говорун, он на полном серьезе рассказывал нам, мальчишкам, как сам Буденный поменялся однажды с ним боевым конем. Но любимой его темой была ловля щук «на кулак». Зимой, когда бочаги в нашей маленькой речушке покрываются прозрачным льдом, щуки, оказывается, стоят у самой кромки льда. Тут-то, по словам деда, их и надо брать — то бишь, оглушать мощным ударом кулака по льду. После такого удара щука долго не понимает, что к чему в этой жизни — и времени вполне хватает, чтобы сделать прорубь и достать оттуда рыбину, травмированную физически и морально.

Когда дед это рассказывал, он всегда смеялся. И я улыбаюсь теперь, вспоминая его рассказы — хотя тогда принимал все это за чистую монету.

Впрочем, кулаки у него, бывшего кузнеца, были здоровенные, как кувалды. Да и щуки в бочагах водились, я сам их видел.

А врагам деда не позавидуешь: все три войны он выиграл. Правда, с потерями: и самого ранили, и сына убили.

* * *

И жестокими, и мстительными мы можем быть, если доведут нас. В детстве я был свидетелем одного случая — очень показательного, на мой взгляд. Один наш поселковый мужик чуть не год охотился за крысой, которая жила у него в сарае и грызла все подряд — от продуктов питания до старой мебели. Ну, ладно, мебель — а продуктов было очень жалко, доставались они тяжело.

Чем он заманил ее в клетку, никто не знал — но, видимо, жадность крысы оказалась сильнее ее осторожности. Он решил утопить ее, не вынимая из клетки, и смотреть на это сбежался весь наш двор.

Крыса была огромной, размером с кошку, чуть разве поменьше, у нее была вытянутая злая морда и длинный голый хвост. Когда мужик погрузил клетку в канаву с водой, злобная тварь заметалась с такой силой, что чуть не расшибла тоненькие деревянные плашки. Но мужик был настолько пропитан ненавистью к ней, целый год безжалостно грызшей его добро, что не утопил сразу, а время от времени поднимал над водой, давая подышать.

Экзекуция длилась больше часа и всем порядком надоела. Крыса уже выдохалась, но билась за жизнь до последнего.

В конце концов, отойдя сердцем, мужик выпустил ее, полуживую, на свободу. Немного отдышавшись, хвостатая шельма медленно побежала прочь.

В сарайке у этого мужика, — мы потом специально интересовались, — крысы больше не заводились...

* * *

Ненависть вообще помнится долго, гораздо дольше, чем любовь. И о своей любви, и о любви ко мне многих

людей я забыл, а вот о ненависти — своей и чужой — никогда не забуду. До сих пор помню, как рослый студент факультета физвоспитания, заглянув в нашу комнату, комнату филологов, обвел всех нас мутноватым взором и предельно искренне сказал:

— Ненавижу!

После чего ушел, никак свое высказывание не прокомментировав.

* * *

Я один на корме. Вечернее солнце, отражаясь в Волге, напоминает красное моченое яблоко. Последнее в бочке.

Вечер. Вечер жизни. Но еще не закат.

* * *

Таких приветливых людей, как в Чебоксарах, я давно уже не встречал. Кажется, и город, и люди пребывают здесь в некоей гармонии — не только цветовой, но и душевной. Я не увидел ни одного злого лица.

Они, может, здесь и есть, но мне не встретились...

* * *

Становится прохладно, и я ухожу в каюту, где меня ждет ворох газет, купленных в славном городе Чебоксары. Только было усаживаюсь поудобнее, как раздастся стук в дверь — и в комнату входит мой новый знакомый, человек не без странностей. Он здоровается, садится за столик и, увидев газеты, молча пододвигает их к себе. Читает минут тридцать, не замечая, что я тихо злюсь: для меня газета — как женщина. Если кто-то до меня ее читал, или хотя бы держал в руках — все уже не то...

В качестве компенсации он пересказывает мне все, что прочитал — а потом еще и подробно комментирует, обеспечивая мне тем самым, как минимум, бессонни-

цу. Потом все же уходит, но в иллюминатор меня тут же начинает рассматривать в упор полная луна. Откуда-то из глубин памяти совершенно неожиданно выскакивают строчки, сочиненные мною в далекой юности. Оказывается, я их не забыл.

.....
Он, ревнивец, смеясь надо мной,
Говорил мне, что я целовался
На заре с побледневшей луной.

Впрочем, первую строчку забыл-таки. И кто был тот ревнивец — для меня самого теперь загадка.

* * *

Полнолуние. В такие дни лучше молчать, избегая любых разговоров и встреч, кроме самых необходимых. Все равно ничего не получится. А если получится, то вскорости пойдет прахом. Испытано.

* * *

Луна в полнолуние — как маленькое круглое зеркальце. В него, наверное, смотрится наша Земля. Что она видит в нем? Свое лицо, покрытое оспинами кратеров? Или пытается разглядеть, кто именно ей причиняет боль — то уколами буровых установок, то ядерными взрывами, то бесконечной стрельбой?

Лишь бы не разозлилась и не смахнула нас однажды с лица, как мы сгоняем надоевших комаров... такое за миллионы лет уже, похоже, случилось...

* * *

Ночь. Время для любви. Или для размышлений.

* * *

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, сказал поэт. А если встает утреннее солнце?

Это нужно не кому-нибудь, а всем без исключения — даже тем, кому не нужны звезды. Свежий волжский ветер, как отец в детстве, гладит по растрепанным волосам, поворачивает мое лицо к берегу: «Смотри, смотри — новый город, новая жизнь. Не прозевай!»

* * *

Больше всего, все-таки, я люблю просыпаться в деревне — в деревянном, пропитанном жилыми запахами, доме. Откроешь глаза, протопашь босыми ногами к окошку, глянешь в него — и замрешь поневоле...

Солнце еще свежее и ласковое; огромный луг весь зелен; в окно заглядывают цветы сирени, похожие на стаканчики с мороженым — розовым и белым, каким угощают детей в праздники. Вся комната залита ярким спокойным светом, вокруг стоит какая-то особенная тишина и на душе легко — как в юности, когда прожитая грешная жизнь еще не тяготит душу.

Однажды таким вот утром я встал и вышел в поле. Стоял, смотрел на дом, на лес... и вдруг мне показалось, что дому моему чего-то не хватает. Пошел к березе, стоящей в поле, срезал несколько зеленых веток — и, вернувшись к дому, украсил этими ветками голубые наличники.

И только ближе к полудню узнал, что сегодня, оказывается, праздник Троицы и что, по старинному русскому обычаю, в этот день как раз полагается украшать зелеными березовыми ветками свое жилище.

Кто меня надоумил? Сам дом? Та самая связь времён, живущая во мне?

* * *

Этот дом в Ахматово я купил четверть века тому назад. Он к тому времени был уже старым, но перед названием деревеньки я не смог устоять. Я привел его в порядок, обогрел, и каждое лето проводил с семьей здесь.

Как-то, в середине июля, к дому подошел седой человек — в том возрасте, когда пожилым называть уже поздно, а стариком еще рано. Он долго стоял перед забором, над которым, словно подсвечники с ослепительно-белыми, толстыми свечами в них, освещая нежным светом все вокруг, возвышались ветки сирени, смотрел. Потом подошел ко мне, попросил разрешения зайти внутрь. Походил по комнатам, постоял около печи, глядя ее рукой.

Догадываясь, что его жизнь как-то связана с этим домом, я предложил ему чаю. И точно, он здесь родился и вырос, а потом семья распалась и дом продали. Он приехал аж из Питера только для этого — взглянуть еще раз на родное гнездо.

Мне было крайне не по себе, как будто я что-то отнял у этого человека. Но все, о чем он рассказал, случилось еще до моего первого приезда в Ахматово.

Гость выпил чашку чая, поблагодарил и исчез из моей жизни. Выглядел он подавленно.

Наверно, я испытывал бы точно такое же чувство, случись мне самому прийти в родной дом, занятый чужими людьми. Теми, которые мне не рады и ждут, чтобы я поскорее ушел.

* * *

Пожил я в свое время по чужим углам, знаю, что это такое. Помню такой же дом, крыльцо, скрипучую дверь... В углу стояло старое, с вмятинами по бокам, ведро, на которое были накинuty мои старые, все в дырках, тренировочные штаны, давно потерявшие изначальный синий цвет и ставшие половой тряпкой.

Я посмотрел на тряпку и, поняв, что в доме только что вымыты полы, снял у порога обувь. Хозяйка, только что отдышавшаяся от этой работы, одобрительно посмотрела на меня, но тапок не предложила. Так я и пошел в носках по влажному полу.

Крайне скверное занятие — сидеть в сырых носках за столом, пить плохо заваренный чай и вежливо подводить хозяйку к мысли о том, что ты заплатишь за квартиру чуть позже. Впрочем, вид моих сырых ног настроил ее на миролюбивый лад — и я тогда получил отсрочку на неопределенное время.

* * *

Чужой дом — он и есть чужой дом. Что же пенять на ту ревностную заботу, с которой мы опекали наш собственный дом, СССР, чего удивляться той подозрительности, с какой мы смотрели на каждого, кто, казалось нам, готов был хотя бы только наследить в нашем доме...

Мы хотели уберечь его от участи планеты Фазтон, не допустить взрыва и распада на астероиды с такими родными названиями: Украина, Белоруссия, Эстония... а дальше припомните сами, вы же все помните. Пока помните...

Не удалось.

* * *

Тот взрыв, от которого мы еще толком не оправились, был настоящим. Но были и мнимые угрозы. За несколько часов до начала партийной конференции поступил анонимный звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. Время было еще относительно спокойное, и в душе никто из сотрудников нашего отдела не верил, конечно, что опасность реальна — но мы проверили все здание, сантиметр за сантиметром. Ничего подозрительного не обнаружили, о чем и доложили начальству, как собственному, так и партийному. Все успокоились, хотя чувство тревоги все же оставалось — по крайней мере, у меня.

Делегаты спели «Интернационал» — и тут вдруг в зале погас свет.

«Вот и началось...» — мелькнуло в моей голове.

Но через пару секунд включился резервный свет, и конференция пошла намеченным путем. К чести партийных лидеров, никто из них не ушел из-за стола, все остались на своих местах.

Причину отключения энергии мы выяснили через полчаса — виновата была ворона, залетевшая в помещение подстанции.

Не та ли, картавая, из Парижа? Одинокая, несчастная, всем недовольная... я тогда, помню, с улыбкой сказал:

— Дельфины-диверсанты уже есть — почему бы не быть и воронам? Тоже, говорят, умные создания...

* * *

Тогда мы долго смеялись в своем кругу по поводу вороны-диверсантки. И вообще, народ у нас в конторе в те времена был, кажется, повеселее, чем нынешний: любили мы поохмить, подшутить друг над другом...

Характерный анекдот той поры, который в нашем кругу выдавался за быль. Мне его рассказали сразу же, как только я приступил к работе — в профилактических целях.

Молодой сотрудник компетентных органов, только что приступивший к несению службы, видит старшего товарища, внешний облик которого полностью совпадает с киношным образом контрразведчика: хорошо сшитое импортное пальто, шляпа со слегка приподнятыми полями, темные очки... Джеймс Бонд, да и только!

— Иван Иванович, — не без зависти спрашивает молодой, — вы так хорошо одеты... наверное, за границей работали?

Старший товарищ недоуменно смотрит на младую поросль:

— А ты что, не получил еще? Это же наша штатская форма! Садись и пиши рапорт. Диктую: «в целях конспирации прошу выдать мне пальто, шляпу и черные очки...»

Молодой принимает все это за чистую монету — и отдает бумагу секретарше, для передачи по инстанции.

Концовки этой истории были у разных рассказчиков разные, но оптимистичной не было ни одной.

* * *

...Далекие от службы мысли посещали нас иногда в самых неподходящих местах. Когда, например, я первый раз в жизни стрелял из «Макарова», то почему-то подумал о дуэли Пушкина с Дантесом... не потому ли все пули у меня тогда ушли в «молоко»?

Когда берешь в руки оружие — вредно думать о литературе.

* * *

Чем ближе к Казани, тем сильнее жара. Начинаешь понимать, что ты скорее на юге, чем на севере. Как хорошо, что эпоха дефицита уже позади: прямо на пристани торгуют холодным казанским пивом. И никаких очередей!

* * *

Вот и Казань. Она, оказывается, совсем недалеко. А я-то думал...

Бросается в глаза непривычное для нас сочетание двух цветов — зеленого с красным... прямо, как чай с солью! Хотя, если вспомнить, то на старинных вышивках в пошехонских деревнях я встречал именно это сочетание цветов.

* * *

Старинный православный храм — а напротив стоит только что построенная мечеть. Это соседство, как мне

показалось, здесь никого не раздражает. За пятьсот лет мы с татарами стали практически одним народом.

Красивая татарочка, лет двадцати, прошла только что мимо нашей группы — и мужчины на время перестали интересоваться храмами, и вообще стариной... Как ей к лицу национальный наряд! Есть женщины... и не только в русских селеньях.

* * *

Женщинам вообще всё к лицу — с этим тезисом нам, мужчинам, надо примириться раз и навсегда.

Я понял это очень-очень давно — когда однажды девушка, стоящая рядом со мной, заплакала. Заплакала оттого, что я, по неизжитой тогда еще привычке говорить правду везде и всегда, на вопрос, идет ли ей эта шляпка, ответил: «Не очень».

С тех пор я научился совершенно искренне восхищаться всем, что надевает на себя женщина. И ни разу не сказал неправды. Им все идет!

* * *

А есть такие виртуозы слова, что аж завидки берут...

С известным питерским поэтом (точнее, ленинградским) мы как-то прогуливались по нашему городу, ведя умную беседу о литературе, о том, о сем... Вдруг подняли глаза и увидели: к нам приближалась женщина из тех, которых принято называть крупногабаритными; платье в обтяжку подчеркивало нестандартный рельеф ее фигуры.

Мой спутник остолбенел, словно встретил саму Музу. Когда женщина поравнялась с нами, он произнес только одно, но очень, по-моему, уместное и точное слово:

— Восхищаюсь!

И она это явно услышала.

* * *

Впрочем, женщины, чаще всего, слышат очень избирательно. Помню своего попутчика, соседа по купе. Женщина, ехавшая с ним, была заметно старше своего спутника — и, похоже, очень гордилась этой разницей в годах. До такой степени, что не стеснялась выставлять напоказ свои чувства.

— За что ты меня любишь? — вдруг, ни с того ни с сего, спросила она его.

Я собирался поневоле выслушать столь же романтическую и столь же показную исповедь, но мужчина повел себя как-то странно. Отколупнув от черствеющего каравая корочку, он допил остатки коньяка из своей рюмки, бросил корочку в рот и, медленно прожевав ее, начал, вроде бы, очень издалека:

— Ты же знаешь, я всегда интересовался антиквариатом... Парфенон... пирамиды...

Она не дала ему договорить, закрыв рот поцелуем. Оторвавшись, наконец, от своего избранника, воскликнула:

— Ой, ты у меня такой начитанный!.. такой умный!..

* * *

Упаси Бог, я никого не осуждаю. Если человек радуется чему-то — это прекрасно. Не так уж много их в нашей жизни, радостей. Все-таки, все люди очень одиноки. Как ни жмутся они друг к другу, спасаясь от этого одиночества, а все равно одиноки. Почти всегда и почти везде.

Так что, зря он ее обидел — да еще при незнакомом человеке, при мне. Как, помнится, писал русский мыслитель Розанов, «тот, кто не любит человека в радости его — не любит его вообще».

* * *

Книгу Розанова «Русский Нил» дал мне в это путешествие мой приятель, провинциальный литератор.

«Василь Васильич, — сказал он, — тоже плыл по Волге. Читай — и сравнивай: много ли изменилось за сто лет?»

А что могло измениться? Тот же Розанов замечает, что в маленьких поволжских городках быт в девятнадцатом веке уже чуть-чуть не тот, что в веке семнадцатом. Но именно чуть-чуть... Это почти за триста лет!

А в двадцать первом — есть изменения? Если говорить о технике, о новостройках — изменения, конечно, разительные. А если о быте, о привычках, о поведении людей — то вряд ли что-то изменилось кардинально.

Может, в этой устойчивости быта и заложена основа крепости нашего народа?

* * *

Неожиданная, но актуальная мысль из «Русского Нила»:

«Очевидно, Приволжье, Приуралье, Черноморье, Кавказ, Балтика — вот естественные края и земли, вот великие землячества, из которых состоит великая Русь».

Тот, кто сегодня решил укрупнять российские регионы, тоже, наверное, читал Розанова. Полезное чтение, особенно для лидеров и вождей.

* * *

Советская Мекка — Ульяновск... к сожалению, сильно пообветшавшая. Да и паломников поубавилось. Но здесь все до сих пор пронизано именем Ленина и его родных... местные жители этого не замечают, а вот человеку, впервые попавшему в этот город, становится немного не по себе. Нельзя кушать один и тот же борщ три раза в день.

Когда экскурсовод стал называть и другие фамилии, — Карамзин, Керенский, — мне стало как-то легче.

И тут же подумалось: да, немало великих людей родила эта земля...

А невеликие? Их бы тоже не надо забывать.

* * *

Впрочем, имена невеликих людей тоже иногда выбивают на камнях. На тех, что на кладбищах.

* * *

Очередной музей, бюст «вождя революции»... Память? Анахронизм? Игра в оппозицию?

Сразу вспомнился один казенный сарай, сквозь дырявую крышу которого на многочисленные гипсовые головы разных вождей падали капли осеннего дождя. Сколько эти головы видели и слышали разных слов: и обличений, и обещаний, и клятв...

И вот итог — дырявый сарай. Несправедливо как-то... или справедливо?

* * *

Отличительная черта всех вождей — общение с людьми через посредников. Мой коллега рассказывал: бронированный вагон Ким-ир-сена остановился на запасном пути, постоял немного, — а незадолго до отправки из него вышел заспанный корейский генерал. Подойдя к группе офицеров, осуществлявшей охрану с нашей стороны, генерал бесстрастно-четким голосом сказал по-русски, с едва заметным акцентом:

— Великий вождь, стальной полководец, маршал, товарищ Ким-ир-сен благодарит вас.

Затем повернулся на каблуках и удалился.

Они подражают богу, говорившему с людьми через пророков.

* * *

Всякая власть от Бога, говорят знатоки Библии. Но Бог справедлив, милостив и добр. А власть? Может быть, она всего лишь должна обеспечить людям возможность быть добрыми и справедливыми? Добрыми и справедливыми, как сам Бог...

* * *

В баре душновато, и я выхожу с фужером в руке на палубу. Пасмурно, плотные белые облака закрывают солнце... но как, оказывается, просто увидеть все в другом освещении. Стоит только взглянуть на мир через стекло бокала со светлым виноградным вином — и все кругом становится солнечным.

В светлое пространство бокала медленно всплывает изображение огромного города — того самого, куда в войну переехало правительство и куда, говорят, даже перевезли мумию вождя. Ну, нет покоя Владимиру Ильичу — ни при жизни, ни после жизни!

* * *

Наши города, как разведчики, любят жить под чужими фамилиями. Рыбинск — он же Щербаков, он же Андропов, он же опять Рыбинск... успокоились, наконец. Самаре повезло больше — она, ни дать ни взять, приличная девушка, только единожды выходявшая замуж и менявшая в связи с этим фамилию — на Куйбышев.

А вот мой Ярославль избежал этой участи. Наверное, потому, что переименовывать его — так же нелепо, как и Москву. За нами — тысячелетие!

* * *

Вот уже и Самара позади... какая тут плотность красавиц на гектар территории!.. все разумные пре-

дела превышает... что же это такое? Откуда? Почему именно здесь?

Молодой армянин с женой, совершающий на нашем белом теплоходе свадебное путешествие, как-то сразу притих — а его молодая супруга и совсем умолкла. Хорошо, что мы ушли из этого города уже через два часа. Волжский ветерок сдул шальные мысли, как пушинки с одуванчиков — и мы угомонились.

Но легкая грусть о чем-то несбывшемся осталась надолго.

* * *

В такие редкие минуты грустить лучше с музыкальным сопровождением. У меня есть выбор: погрузиться за деньги — в баре, под назойливые песни примадонны и ее родственников, либо бесплатно — в кают-компании, где стоит черный концертный рояль. И как ни нашептывает мне какой-то бесенок на ухо, что лучшее место для грусти — это бар, я все-таки иду туда, где рояль. Тем более, что из кают-компании несутся звуки какой-то классической пьесы. Я неслышно вхожу, сажусь в затертое кресло и прикрываю глаза.

Музыка кажется мне странно знакомой... Шопен?

* * *

Шопен, Шопен... а люблю ли я Шопена? Может, просто по инерции разделяю расхожие представления о том, что хорошо и что плохо?

Этот самый Шопен однажды помешал моему приятелю завязать роман с девушкой, молоденькой комсомольской богиней среднего уровня. Женька нравился всем девушкам, а богине в особенности — и вот однажды утром он, ее подчиненный по службе, зашел к ней в кабинет. Там в это время звучала «Аппассионата» Бетховена. Желая поразить парня своим утонченным музыкальным вкусом, девушка, выждав паузу, томно произнесла:

– Люблю Шопена...

Последние два слога этой фамилии звучали у нее при этом, как в слове «пена».

Неадекватно оценив ситуацию, Женька решил слегка поправить юную начальницу.

– Наташа, – мягким баритоном сказал он. – Это скорее Бетховен, чем Шопен.

При этом он невольно передразнил комсомольскую богиню, воспроизведя ее произношение фамилии великого композитора.

Она грустно, как на законченного идиота, посмотрела на него и без тени смущения повторила:

– А я люблю, – здесь она вновь сделала многозначительную паузу, – Шопена...

Но развития музыкальная дискуссия не получила. Не оценив по достоинству этого необычного объяснения в любви, мой приятель в итоге не оказался героем еще одного романа. Может быть, даже романа со счастливым концом...

* * *

– Любите музыку? – спрашивает меня человек, сидящий за роялем.

– Да. Очень.

– Что вам сыграть?

Я некоторое время размышляю.

– «Аппассионату»... если это, конечно, вам под силу... вещь сложная. А в общем, что хотите...

Человек, улыбнувшись, начинает играть Бетховена.

Я вновь прикрываю глаза и вдруг, по странной внутренней причуде, смотрю на самого себя со стороны: немолодой человек, сидящий в затертом кресле, слушает, как рядом с ним исполняют «Аппассионату»... ни дать ни взять – вождь мировой революции с известной фотографии. Только я – совсем не кремлевский мечтатель, а наоборот – крохотный осколок советской

империи, плывущий на белом теплоходе неведомо куда и зачем...

От чего я бегу? От кого? На какие вопросы я пытаюсь найти ответы? Что я пытаюсь вспомнить?

* * *

«Неужели не вспомнишь, не заплачешь мне вслед...» Эти слова принадлежали не парню с гитарой, сошедшему много лет тому назад на берег в Романово-Борисоглебске — он только повторял их. Задолго до него эту песню пел его дед, белогвардейский офицер. Должно быть, те поручики и полковники, верой и правдой служившие царю и Отечеству, испытывали после Октябрьской революции те же чувства, что ныне испытываю я: их мир тоже распался, а новый они не могли ни понять, ни принять. Моя поездка на теплоходе по Волге — в чем-то сродни их эмиграции.

Только они уезжали в чужие страны и навсегда, а я скоро вернусь. И за моей спиной нет гражданской войны.

* * *

Музыкант заканчивает игру, я встаю и благодарю его. Прощаясь, он с улыбкой произносит:

— Очень важно, чтобы между первой колыбельной песней и похоронным маршем мы смогли услышать музыку мира. Чтобы понять его... не обязательно разумом, а хотя бы с помощью эмоций...

* * *

Бесенок все-таки одолевает: покинув кают-компанию, я спускаюсь в бар. За стойкой вместе со мной оказывается японец, уже выкушавший один «дринк» и вошедший поэтому в состояние легкой эйфории. На

плохопонятном русском он громко восхищается огромными пространствами России.

— На острова намекает... — кивает мне другой мой сосед, с украинской фамилией, выпивший раз в восемь больше. — Вот уж хрен, не дождутся!

Вполголоса исполнив песню времен Халхин-Гола, о самураях, летевших наземь под напором стали и огня, он просит бармена налить всем по маленькой и провозглашает знаменитый тост:

— За единую и неделимую!

Японец выпивает с удовольствием — и с места в карьер начинает рассказывать нам о своей далекой родине. Мы слушаем и поддакиваем: нам все понятно. Свою родину любят все... или почти все. Правда, одни испытывают эти чувства, находясь вдали от родины, а другие — находясь внутри нее. Последнее сложнее.

Японо-украинские отношения продолжают укрепляться, а я выхожу на палубу. Ночное пространство озарено огнями большого города — это последний причал моего путешествия, Саратов.

Что я знаю о Саратове? Парней так много холостых на улицах Саратова... а что еще? Ах да, именно здесь был губернатором Столыпин, который чуть-чуть не сделал Россию нормальным европейским государством... а что еще? Ну, как я мог забыть! Саратов — это Чернышевский, это «Что делать?», это Вера Павловна с ее утопическими снами... не пора ли и мне в койку?

* * *

Мой шеф, одетый в генеральскую форму, но с лицом Ивана Петровича, моего соседа по даче, и почему-то в чеховском пенсне, торжественно говорит мне:

— Вам предстоит выполнить очень серьезное задание, полковник: ровно через час на сцене нашего театра вы сыграете Гамлета.

— Но я же не знаю слов, товарищ генерал!

— Ничего. Суфлер подскажет.

— Но как я буду двигаться по сцене?

— По обстановке, исходя из ситуации и текста. Вас что, не обучали действовать в нестандартных ситуациях?

— Так точно, обучали...

— Главное, не забудьте произнести ключевые слова: «Быть или не быть?» Когда последует ответ, задайте залу второй вопрос: «Что делать?» Ясно?

— Так точно, ясно. Но зачем все это, товарищ генерал?

— Нам нужны ответы. Честные ответы, полковник!

И вот я уже облачаюсь в обтягивающий меня костюм Гамлета. Немного выпирает оперативная кобура, но это ничего, приспособимся. Вот и сцена, неразборчивые лица зрителей. Легко доведя действие до необходимого монолога, я бросаю в зал:

— Так быть нам, иль не быть?

— Любо!.. любо!.. — гудит в ответ публика.

Так... значит, зрительская масса этнически неоднородна, полно украинцев. Ладно, мы и на мове розмовлять умеем.

— Шо ж нам робить, громадяне?

Но в ответ — молчание. Я стою на сцене, в моей руке шпага, а под мышкой кобура, у меня есть приказ и я должен делать то, что должен.

— Что делать?

Наконец, откуда-то с балкона летит одинокое:

— Сам думай! Ты грамотный, целый полковник!..

Я пытаюсь собраться с мыслями, смотрю по сторонам — а из суфлерской будки на меня глядит Иван Петрович в одежде, которую я ему подарил.

— Казаков у меня нет, — говорит он, сокрушенно разводя руками.

И тут я просыпаюсь...

* * *

Тихое летнее утро. Мои ночные кошмары бесследно растворились в нем, словно кусочки сахара в стакане с чаем. С верхней палубы хорошо видны те самые саратовские степи, где когда-то приземлился Гагарин.

Гагарин... Мне казалось, что на огромном, голубом небесном экране вечно будет сиять его улыбка — улыбка моей страны, уверенной в своем будущем.

Той самой страны, которую мы...

* * *

Значит, надо просто — быть? Просто — думать? Как это, однако, непросто... За вагонным окошком проплывают леса, поля, станции — а я, решивший вернуться в Ярославль наземным видом транспорта, по прежнему погружен в себя. Все вопросы, которые я задавал сам себе, остались вопросами, азбучные истины не пошатнулись, лишь повернулись другим боком, а до честных ответов еще надо додуматься.

Но все-таки я осуществил свой план, выполнил приказ, отданный самому себе. Мое путешествие позади.

* * *

И вот он снова рядом, родной причал... Высокая, светловолосая девочка-подросток стоит совсем недалеко от меня на волжском берегу и старательно машет

рукой мальчишке, который все ближе и ближе подплывает к берегу на своей белой лодке с синей полосой на бортах. Он налегает на весла — и лодка скользит по воде, тихой и спокойной, на которой не видно даже ряби. Потом нос лодки тычется в берег, мальчишка подтягивает ее на песок, цепляет веревку за корягу и вытаскивает из-под лавки кукан с небольшими, яркими шучками.

Он подходит к девочке — и начинает что-то оживленно рассказывать ей, размахивая руками. А она тихо смеется, глядя на него — счастливая, видимо, просто оттого, что живет на белом свете, что любит, очевидно, этого мальчика... и еще оттого, что сегодня такой солнечный, теплый, безветренный день.

— Догоняй! — кричит она ему и, разбежавшись, бросается в голубоватую ласковую воду. Плывет по-женски грациозно, уверенно.

«Плывет... Куда ж нам плыть?» — невольно повторяю я пушкинские слова.

Но девочка никого не спрашивает, плывет себе. Я смотрю на нее, замороженный — и лишь когда она доплывает до середины реки, начинаю беспокоиться: знает ли она, что такое точка возврата — та точка, с которой уже невозможно вернуться назад, откуда надо плыть только вперед?

Мальчик тоже забеспокоился: отвязал лодку, стащил ее в воду и, быстро догнав девочку, медленно поплыл рядом.

И тут я окончательно успокоился. Доплывет. Никаких сомнений!

* * *

— Ну, что ж, — сказала знакомая литературная дама, посмотрев по диагонали все написанное. — Образ юной

девочки, олицетворяющей Россию, эксплуатируется уже лет двести, не меньше. Сюжеты часто примитивны и тоже многократно встречались ранее в разных версиях. В общем, имей мужество, — тут она выразительно посмотрела на меня, — мужество бросить все это, в подражание классикам, в печку — и продолжай быть просто читателем.

— Но говорят же, что рукописи не горят..

— Это великие не горят. А такие...— она взяла со стола оставленную кем-то бумажную салфетку с торопливо записанным номером телефона и именем, щелкнула зажигалкой и подожгла листок. — Видишь, как все просто? Никаких следов. Пепел! Его, по старой русской традиции, можно очень даже художественно развеять по ветру...

Она достала из коробки тоненькую, как проволока, сигарету, отхлебнула кофейку из чашки со следами губной помады и, прерывая затянувшуюся паузу каким-то уже менее жестким голосом, изрекла:

— Впрочем, поступай, как знаешь. Любая жизнь неповторима... в том смысле, что она уже не повторится никогда и бесследно исчезнет. И твоя тоже...

— Так что ж, прав был мой деревенский философ, когда спросил меня: зачем все было-то?

— Да ты его, скорей всего, выдумал, философа своего... да и сам вопрос — тоже.

— Вопрос-то можно выдумать... но разве можно выдумать жизнь? Она просто была, моя жизнь — и, надеюсь, еще продолжится. И со смыслом...

— Надейся, надейся...

Последние слова она произнесла с такой иронией, что я решил прекратить сопротивление. Ведь убедить женщину в чем-то — это все равно, что просить небо

пролиться дождичком завтра ровно в двенадцать-тридцать, и только на твой огород. Шансов — ноль.

— Все-таки я надеюсь, пока живу, — ответил я затертой фразой и, слегка расстроенный, вышел из полутемного, пустого кафе в слякотный мартовский день. В такие дни кажется порой, что весна никогда не придет, что мы обречены на вечную промозглую погоду, грязноватые лужи на узких тротуарах и мрачные лица прохожих.

Я прошел по инерции несколько шагов — и остановился. Куда ж мне идти?

* * *

— Нет, Николаич, — глубокомысленно замечает мой сосед, — про Волгу и про чекистов было интересней... а дама эта твоя — на хрена она? Только сбила с толку. Плыл бы дальше — там, после Саратова, поволжские немцы живут. Сейчас, правда, они уж все поуезжали в фатерляндию свою... но и там, слышать, им не сахар. Их там русскими зовут. Ну, давай еще по одной!.. да ты закусывай знай... огурчики-то, брат, на смородинном листе сделаны, не хухры-мухры.

— Что хороши — то хороши, — одобряю я. — Говоришь, понравилось? А ведь ответа-то на твой вопрос у меня так и не нашлось... Вон сколько понаписал, а ответа нет.

— Велико дело, — говорит Петрович, — от Рыбинска до Саратова проехать... тут и выспаться-то не успеешь. Вот тебе мой сказ: двигай дале! Только хватит тебе слезы лить про Советский-то Союз... что уж теперь!..слезами горю не поможешь. Раньше надо было про то думать. А вот скажи, раз ты полковник: я тут недавно про Крючкова вашего та-акое читал... правда, аль нет?

— Гриф «секретно» через четверть века снимут, — отвечаю я глубокомысленно, — тогда вот и узнаешь все. И про Крючкова, и про меня, и про себя... Думаешь, зачем мы вот тут с тобой сейчас сидим? Просто так? Не-ет, брат, просто так ничего на этом свете не бывает... ну, ты меня понимаешь, конечно...

Петрович неуверенно кивает головой, наполняет стопки портвейном, залпом выпивает свою и с хрипом говорит:

— Хрен доживешь!

Недовольно каркая, над нами пролетает ворона. А в мою голову вдруг залетает мысль: все когда-то становится явным. Но вот на вопрос «Зачем все было-то?» ответа мы вряд ли дождемся. Информация о смысле жизни засекречена навек — и не нами, гриф секретности с нее не снимут никогда. И надо ли снимать? Вдруг этот смысл — полная бессмыслица?

* * *

Волга, конечно, впадает в Каспийское море. Правда, я так и не убедился в том воочию... видимо, это путешествие и впрямь не последнее — должен же я все проверить!

А вот со сломанным тополем все вышло удачнее: я купил в магазине маленький саженец дуба, заехал в родной двор — и высадил дубок рядом с тем местом, где некогда стоял мой неприветливый тополь.

— Этот покрепче будет, — бурчал я, окапывая саженец, — лет сто простоит, а то и все двести. Только поливать его надо будет на первых порах...

Словно услышав эти мои слова, ко мне подошла маленькая девочка. Это была она, та самая, что сидела на пеньке и лепила в песочнице пирожки, только слегка подросшая. В руке она держала игрушечное ведро.

– Можно, я полью? – сказала она.

Я подумал, посмотрел на нее.

– Давай! Ты из своего, а я другое возьму, настоящее. Вот дело-то у нас и пойдет. Не успеем оглянуться – вымахает дуб до небес! А мы будем с тобой под ним сидеть...

– И про тополь вспоминать! – продолжила она. – Я его помню, он тоже был хороший, пока не сломался...

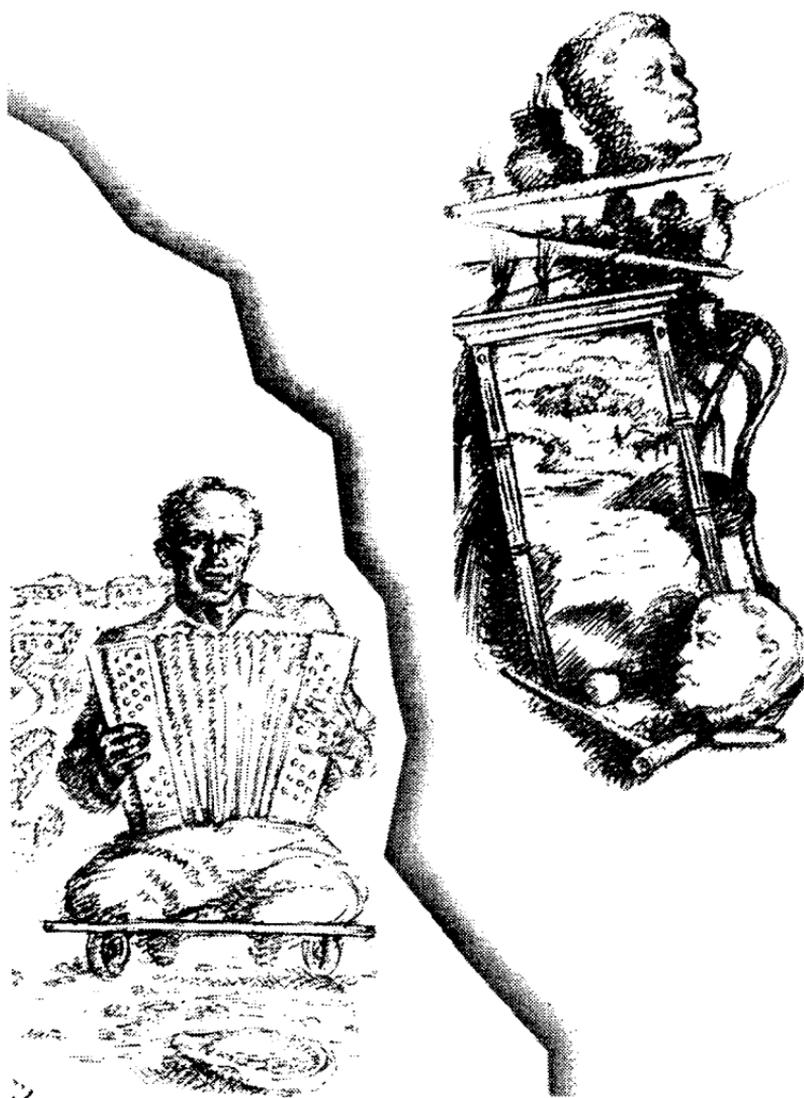
– Неужели помнишь? – обрадовался я. – Ну, тогда ты уже совсем большая! Поди-ка, и мальчики уже с тобой дружат?

Она подарила мне совершенно женский взгляд – и отправилась за водой.

«Подрастает, подрастает новая Фаэтон, – думал я, глядя ей вслед. – Не успеем оглянуться – озадачит весь мир своей красотой. Может быть, ее судьба будет счастливее – и не разлетится на тысячи астероидов? Дай-то Бог!»

Дай Бог всем нам...

**Включенный
микрофон**



* * *

Первый посетитель, с которым я беседовал сегодня, ругал всё подряд: качество продуктов, транспорт, политиков, жизнь, порядки, — всему и всем досталось! Я умею отключаться, когда общаюсь с этой породой людей, но сегодня это как-то не получалось. В конце беседы я буквально взмолился:

— Ну, неужели всё так плохо? Вон какая чудесная погода, взгляните! Хоть и ноябрь на улице, а тепло, солнечно...

Он посмотрел в окно, потом на меня — и со злостью сказал:

— Дерьмо погода! Пора дождям быть, а тут солнце жарит!

Мы поговорили еще немного и он ушел. Дожидаюсь, пока в приемную войдет следующий жалобщик, я еще раз припомнил эту фразу про погоду — и подумал: как же он, бедный, со всем этим живет? И сколько таких? И что их сделало такими?

Впрочем, и то сказать: счастливые и довольные жизнью люди к нам, в общественную приемную, вообще не приходят. Большинство моих собеседников кем-то или чем-то обижены. И моя задача — помочь им, по возможности. Если, конечно, они идут за реальной помощью, а не за тем, чтобы излить на меня свою обиду и злость.

Хотя, конечно, и это тоже помощь: быть резервуаром для подобных излияний, таким сливным бачком...

* * *

Я понимаю, естественно, что, разговаривая со мной, люди видят перед собой не меня, а тех, кого они регулярно наблюдают на телеэкране. Я и мои коллеги для приходящих к нам — только микрофон, с помощью которого они хотят докричаться до власти. И этот мик-

рэфон не может позволить себе выключиться — он постоянно включен, всегда настроен на прием...

Пять лет назад, когда мне предложили организовать и возглавить в нашем регионе общественную приемную полпреда Президента, я согласился почему-то очень легко. А сегодня, когда приемная уже создана, когда наработан какой-то опыт, пожалуй, семь раз подумал бы, прежде чем окунуться в это сплошное месиво чужих проблем... У меня ведь и своих собственных — выше головы: и личных, и рабочих, и творческих.

Тридцать лет назад, когда мне, студенту-историку, неожиданно предложили перейти на службу в КГБ СССР, я согласился почти с той же легкостью. Но ведь я тогда почти ничего не знал о жизни...

А сегодня знаю? По крайней мере, многое...

Может быть, это просто черта характера — не задумываясь, браться за всякое новое дело, взваливать на себя новые проблемы... Но если это так, — а очень похоже, что это так, — тогда не о чем и горевать: горбатого могила исправит.

* * *

Наверное, я сам напороочил свою судьбу, когда в 17 лет написал (да тут же и поспешил опубликовать) свое первое, более или менее сносное, стихотворение, которое начиналось так:

Я весь в долгах, я вечно что-то должен,
Вздыхаю часто, до чего я дожил —
Взвалил на плечи судеб чьих-то груз,
Чужую радость и чужую грусть!

Со временем одни долги уходили в прошлое, — например, перед партией или перед угнетенными всех стран и народов мира, — но прибавлялись другие.

Придумыванием долгов для народа у нас всегда занимались очень талантливые люди.

Долги, долги... Почти все они у меня были... да и сейчас есть, кроме, пожалуй, одного, — того, которым грешили почти все русские инженеры (человеческих душ, конечно): у меня никогда не было карточных долгов. Из чего я заключаю, что литератор я все-таки ущербный, как бы и не настоящий.

Со временем к долгам привыкаешь и везешь их, как хорошо воспитанная лошадь — свой груз, то есть, легко и спокойно. И если с твоей шеи что-то однажды скинут, и тебе станет легче — недовольно оглядываешься: с чего бы это? Может, я уже и не нужен?

* * *

Один из сегодняшних посетителей так мне и сказал:

— Вам-то хорошо, вы всех тут знаете, никого не боитесь, вам проблемы решать в охотку...

— Ошибаетесь, — парировал я, — какая же тут радость — копать в чужих проблемах да судьбах? Здесь почти все эмоции — со знаком минус. Здесь, скорее, не охотка играет главную роль, а что-то другое.

— И что же?

— Наверное, стремление к справедливости.

Он посмотрел на меня и неопределенно покачал головой. Не поверил, наверное.

* * *

Главное противоречие нашей жизни, по-моему, в том, что закон и справедливость у нас — часто не совпадающие понятия. Вот, к примеру, тот же вопрос о гражданстве. Ежели по справедливости решать его, так тут всё ясно, и думать особенно нечего. Но по старому закону русский человек, — да и любой россиянин, — мог годами дожидаться, чтобы ему дали гражданство России. И вот, когда через нас прошли десят-

ки несчастных людей — а по всей-то России десятки тысяч — власть, наконец, услышала их. Закон изменили, и он стал значительно лояльнее к тем, кому наша земля — мать родная.

Но ведь сколько слез было пролито, сколько порогов истоптано!

* * *

— А как же мой вопрос вы будете решать — по закону или по справедливости?

— Мы ничего сами не решаем...

— То-то и оно!

— Вы не дослушали. Зато у нас есть возможность — и законное право — проконтролировать решение вашего вопроса местной властью. И мы это сделаем.

— Да ничего у вас не выйдет! Везде же все куплено, кругом коррупция, президент об этом говорит постоянно — а что меняется?

— Ну, это преувеличение. Российское государство — конструкция замысловатая, но держалось оно всегда на порядочных людях, а иначе давно бы уже развалилось... Впрочем, вы правы — опасность такая была еще совсем недавно...

— Гладко говорите, — заметил ироническим тоном мой собеседник. — А жизнь-то — вот она: крышу второй год не чинят, и правды не найдешь!

* * *

Вообще-то, по всем правилам, я должен был его послать в мэрию либо территориальную администрацию. Но я не сделал этого. У нас и так, куда ни обратишься, везде стараются послать... Эту сторону жизни я знаю лучше многих, изучил!

* * *

Разговор с ироническим скептиком заставил меня вспомнить еще один — недавний и, вроде бы, случай-

ный. Мужчина моего возраста, молча и долго пивший в кафе свой коньяк за моим столиком, вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Знаете, а ведь я, кажется, нашел формулу.

— Формулу?

— Формулу, по которой мы сейчас живем. Вы ведь помните «Моральный кодекс строителя коммунизма»?

— Помню, конечно. Кстати, ничего плохого там не было. По сути — те же христианские десять заповедей, только прикрытые социалистической риторикой. Человек человеку — друг, товарищ и брат...

— Вот-вот. Я заменил в этом постулате всего одно слово. И вышла формула новой жизни.

— И что же вышло?

— Это теперь звучит так...

Он сделал паузу, глотнул золотисто-коричневой жидкости из своего бокала и поднял на меня тяжелые глаза.

— Человек человеку — волк...

И, выдержав еще одну паузу, добавил оставшееся:

— ...товарищ и брат!

Я молчал, осмысливая сказанное, но мой собеседник помогать мне в этом деле явно не собирался. Сделав последний глоток, он ушел из кафе. А затем и я, вооруженный новой формулой жизни и слегка повеселевший, последовал его примеру.

Ветер на улице напевал осеннюю мелодию для негромкого голоса — такого, как у меня. Правда, слова, как это часто бывает во время пения, трудно было разобрать. Да и язык у ветра непонятный, хоть и привычный. Но я не удержался и стал негромко подпевать ему.

— Ишь ты, мыслитель, — думал я весело, — никак не переведутся они на Руси. Впрочем, неплохой парадокс. Хотя, лично я — никому не волк. Как и большинство моих знакомых. Овец среди них, правда, тоже нет...

* * *

Я даже остановился, удивленный этим внезапным поворотом собственной мысли. А ведь и вправду: жаловаться на свою жизнь в кругу близких мне людей почему-то не принято. Help your self, помоги себе сам, — этот западный жизненный принцип, — да и наш, пожалуй (сразу вспоминается незабвенный Остап Бендер с его лозунгом «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих»), — этот принцип многие люди моего поколения, чья молодость пришлась на 70-е — 80-е годы, усвоили неплохо. Но вот в чем штука: этот принцип хорош, когда ты полон сил, здоров, хорошо образован, знаешь свои права и умеешь их защищать. А таких людей меньшинство. Да и стареем все мы. А проблемы не устаревают. Вот и идут усталые, изверившиеся люди к нам, как в «скорую помощь». Идут и за сочувствием, и за поддержкой.

* * *

Среди сегодняшних жалобщиков была пожилая женщина, всю жизнь проработавшая на заводе. Она сетовала на то, что ей неправильно начислили пенсию, недодав что-то около восьми рублей в месяц. Восемь рублей — стоимость одного проезда в троллейбусе. С другой стороны — это стоимость буханки черного хлеба. И если без поездки куда-то эта женщина точно обойдется, то без хлеба — вряд ли.

Я, конечно, пообещал ей вмешаться в ситуацию, разобраться: если в расчеты действительно вкралась ошибка, то восемь рублей должны вернуть. Но в голове у меня всё это время всплывала знаменитая некогда стихотворная строчка: «Добро должно быть с кулаками...»

Ну, вот какие кулаки могут быть у этой женщины? Она обижена, она обделена, ищет справедливости, жалуется. Так и не выросли кулаки у добра. Точнее, так: они выросли, но не у добра.

Другая женщина, очень в годах, долго критиковала содержание телепрограмм: сплошные трупы, убийства, секс, искалеченные расчленением отношения людей — и прямо-таки требовала, чтобы президент страны немедленно всё это изменил. Не зная, что ей ответить по существу, я сказал просто:

— А вы не включайте телевизор! Читайте книги, лучше — классику: Чехова, Толстого...

Сказав это, я совершенно не лукавил: русская классика, которую у нас, к сожалению, толком-то и не знает никто, дает всё, что необходимо душе и сердцу. Это как луковица где-нибудь в Заполярье: съел — и сразу получил все витамины, спасшись от интеллектуальной цинги. При этой болезни, развивающейся под воздействием ТВ, выпадают не зубы, а мозги.

Но, кажется, она меня не поняла. Или не захотела понять. Лицо ее стало постным, взгляд — отстраненным, в голосе зазвучала обида...

* * *

Сколько уж раз я замечал: как только начинаю в разговоре упоминать о русской классике, или, к примеру, цитировать тех же Чехова и Толстого, лица моих собеседников сразу как-то скучнеют, принимая такое вот постное, почти скорбное выражение. С такими лицами обычно слушают подробные повествования о чужих болезнях...

Зато о своих собственных болезнях все, или почти все, повествуют прямо-таки вдохновенно!

Есть, о чем задуматься. Выслушать историю чужой болезни — это все равно, что подать милостыню. Кстати, «милость» в переводе с польского означает «любовь», милостыня — проявление любви. И каждому из нас требуется милостыня, одному — деньгами на хлеб, другому — участием, добрым словом.

Очень уж скупы мы стали в последнее время на добрые слова, редко подаем. И нам, значит, не подадут, когда придется просить.

* * *

Народ всё шел и шел, у меня не было времени, чтобы перекусить. Гражданин в щегольской шляпе ставил ребром вопрос об издании собственной книги, настаивая на том, чтобы я прямо при нем прочитал рукопись и высказал свое мнение; женщина-предприниматель, попавшая в сложную жизненную ситуацию, нуждалась в грамотном юридическом совете; а одна бабуля в платочке просто-напросто плакала в голос: ее родственники, как только добились от нее завешания на квартиру, тут же бросили старую женщину на произвол судьбы... В общем, энциклопедия современной русской жизни, вернее, ее изнаночной стороны. «Евгения Онегина» на этом материале Пушкин уже точно бы не написал.

* * *

Когда старушка ушла, наступило затишье. Моя помощница, заглянув в кабинет, сказала почему-то шепотом, что народу больше нет и что она очень хотела бы сбежать в ближайшую столовку минут на двадцать. Я заказал ей пяток пирожков с капустой (любимые!.. с детства!), а сам, включив электрический чайник, подошел к окну и залюбовался тем, как внезапно начавшийся косой дождь заштриховал, словно опытный рисовальщик, всё пространство вокруг дворовой березы — пока еще зеленой, но с желтыми пятнышками синиц на ветках.

Дождь. Осень. Вот уже и осень.

Эти желтые пятна, береза, двор мне что-то очень определенно напомнили... но вот что именно? Я напрягся, силясь вспомнить — и вдруг, ни с того ни с сего,

мгновенно перенесся лет на сорок назад, в прошлый век. Тогда, помнится, вместо «картошки» меня направили на стройку, где я таскал кирпичи на носилках в паре с 50-летним мужиком, полжизни отсидевшим в лагерях. Мужик оказался личностью нестандартной: наизусть цитировал целые главы из «Войны и мира», причем, почти без ошибок, я проверял. Умилившись способностям зека, я начал было размышлять о природной талантливости русского народа, о жемчужинах, которыми усыпано дно... но тут выяснилось, что таким вот оригинальным способом — зазубриванием целых глав — мой напарник оплатил когда-то свой проигрыш в карты. Видимо, его партнеры по игре были законченными садюгами: заставили бедолагу выучить не главы о сражениях и битвах, а те, где описаны самые нежные чувства Наташи Ростовской...

Но почему я вспомнил именно об этом? Что роднит этот эпизод моей юности с пейзажем за окном? Неужели только время года?

А что, в этой мысли что-то есть. Ведь осень — это бывшее лето, а лето — это целая маленькая жизнь, набитая событиями, как чемодан вещами перед поездкой куда-то.

И вот возвращаешься из этой поездки — и начинаешь распаковывать чемодан. И чего там только нет...

* * *

Той осенью я работал вместе с приятелем еще и на зерновозе. К концу работы этот агрегат со стороны был, наверное, похож на огромную, почти пустую банку для сардин, на дне которой, как две мелкие рыбешки, валялись на горках зерна мы с Юркой. Мы с ним отпахали по шесть часов, подгребая зерно к трубам, которые, оставаясь без пищи, истошно визжали — а такие звуки в замкнутом пространстве человеку вынести невозмож-

но. Если не хочешь сойти с ума, надо вставать и опять кормить зерном эту змею...

Как мы выбирались из трюма – не помню. Но помню, что заплатили нам за рабский труд сразу по пятерке. Половину этого заработка мы, когда пришли в себя, немедленно проели... да что там проели! – прожрали в рабочей столовке. И обычные щи и котлеты показались нам тогда райской пищей.

Помнится, я долго недоумевал: если б я был грузчиком, то как на эти деньги – и при таком аппетите – я смог бы жить, да еще, допустим, с семьей?

А наши партнеры, грузчики-профессионалы, получив деньги, сразу же сбегали за водкой и тут же, на берегу, стали выпивать, закусывая белыми головками зеленого лука и черным хлебом со шматками желтоватого сала, покрытого по бокам крупномолотой солью. Они пили, ели – и с прибаутками и матерком обсуждали марку телевизора, который накануне купил их молодой, недавно женившийся бригадир.

«Какой телевизор, какая женитьба, – думал я, сидя рядом с ними и уже выпив предложенные мне сто грамм, – жить на пятерку в день – ведь это абсурд...»

Остаток денег я отдал родителям: дома как раз не было ни гроша. Через два дня мы с Юркой собирались уезжать в другую жизнь – начинались занятия в институтах.

Но эту адскую работу, этих работяг я запомнил на всю жизнь. Как и бригадира – здорового парня, который, прежде чем выпить, долго смотрел на мир через граненый стакан с водкой...

Что он там видел? Свой новый телевизор? Девчонку, ставшую его женой? Или какую-то другую жизнь?

* * *

Об этой самой «другой жизни» – русском варианте американской мечты – я слышу без малого полвека.

Обычно мысли о ней приходят к моим землякам первого января или сразу после дня рождения. А то и каждый понедельник.

Один мой сосед по гостиничному номеру, предварительно накачавшись пивом, помнится, в красках расписал мне эту самую другую жизнь: зарядка по утрам, обливание холодной водой, обязательность во всём, никакого алкоголя. Все силы — работе и карьере! А еще — изменение природной злобности характера на доброжелательность и тактичность...

Рассказывая об этом, он зачем-то постоянно шевелил пальцами ног — и напрасно, ибо носки у него были не только дырявые, но и несвежие. Тот, кто жилал в дешевых номерах с соседями, поймет меня.

— Как думаешь — смогу? — спросил он, поглядев на меня.

Вопрос был, с моей точки зрения, совершенно бессмысленный. Я был старше его лет на двадцать и обладал огромным опытом по части планирования и начала новой жизни.

— Вряд ли. А впрочем, попробуйся. Начни с самого простого — купи две пары новых носков. Это будет твоим первым шагом к новой жизни.

Мы встретились через полгода.

— Ну, как — начал новую жизнь?

— Конечно! Купил, по твоему совету, новые носки... Правда, на этом и остановился. Пока, — добавил он не без самоиронии.

— Молодец, — сказал я отечески. — Первый шаг сделан. Это уже много! А на второй у тебя есть вся оставшаяся жизнь. Главное — сделать первый шаг. А там...

* * *

А там — уехать куда-нибудь к чертовой матери!.. Покинуть это болото, этот вечный бардак, этих сволочей, эту скукотищу, это безденежье, унылую жизнь!

Уехать, удрать, сменить место жительства — вот вторая по значимости русская мечта. Не ей ли мы обяза-

ны огромными пространствами нашей холодноватой державы? Наверно, наши первопроходцы, движимые этой мечтой, собирали команду из таких же, как они, пассионариев — и двигали из мест временного обитания к этой самой чертовой матери...

И оказались в итоге на берегах Тихого океана, обеспечив тем самым своему народу жизненное пространство.

* * *

Ныне же для большинства моих соотечественников эта мечта реализуется гораздо проще — путем пробежки до того места, где та самая чертова мать торгует водкой. После первого же стакана взгляд на жизнь меняется радикально. Все-таки этот стакан, если смотреть через него, здорово преломляет мир.

Да и куда теперь убежишь? Все неведомые земли давно открыты...

Помощница постучала в дверь — и я выпал из осеннего пейзажа, не на шутку разошедшегося дождя и своих вечных размышлений о русском менталитете... Вот, кстати, еще одна родовая наша черта: при каждом удобном случае мгновенно впадать в состояние созерцания, в медитацию... Этого из нас никакая постиндустриальная эра не выбьет!

— К вам посетитель... Можно заходить?

* * *

Посетитель оказался довольно миловидной девчушкой, выпускницей университета, которая в поисках работы добралась до нас. Так, на всякий случай. Вдруг повезет.

Пришла она явно не по адресу, тем не менее, я спросил:

- И кем вы себя видите?
- Журналистом!
- Что-нибудь уже публиковали?

Девушка показала мне несколько газетных вырезок с простенькими заметками о студенческой жизни.

— Где-нибудь уже пробовали устраиваться?

— Да, конечно.

Она назвала пару изданий, где изначально работают только профессионалы.

— Никуда меня не берут без опыта! А где его набраться?

Да, обычная молодежная проблема, — подумалось мне. — Сначала не берут на работу, потому что молода, а потом — потому что немолода. Это у нас есть, сплошь и рядом.

Девушка, — пожалуй, немного переигрывая, — смотрела на меня так жалобно, как будто давно не ела, а я жалел для нее маленький кусочек хлеба.

Поговорив с ней еще минут двадцать и убедившись, что она не безнадежна, я позвонил своей приятельнице, главному редактору одной добротной газеты, и попросил ее дать девушке шанс, хотя бы с испытательным сроком.

Посетительница же, успешно переложив на меня свою проблему и понимая, что что-то получается, заметно повеселела и, поблагодарив, ушла.

* * *

Ее лицо, — простое, миловидное, курносое лицо волжанки, — поразительно напомнило мне лицо другой девушки, из той самой осени, откуда я только что вынырнул.

— Вот ты, студент, ответь мне — как это так получается? — приставала она ко мне. — Какую бы операцию я ни делала на этом станке — больше семидесяти рублей никогда не зарабатываю! У мастера спрашивала — молчит...

Я тогда не поленился, взял у нее все квитки, где были прописаны нормы и расценки — и с помощью простей-

ших операций умножения и деления пришел к выводу: всё этими нормами и расценками сбалансировано так, что семьдесят рублей всегда будут верхним пределом ее заработка.

Послушав меня, она пошла бороться за свои права к мастеру — и ничем хорошим это не кончилось. По крайней мере, для меня. «Грамотный шибко» — таким было самое интеллигентное определение моей личности. Умножать и делить на рабочем месте мне отныне было строжайше запрещено — в противном случае шибко грамотному студенту пообещали бесплатно исправить природные недостатки внешности.

Я, правда, и до сих пор не забыл ни таблицу умножения, ни правила деления. Но что есть, то есть: первая моя попытка защитить интересы рабочего класса окончилась бесславно.

Фразу о том, что добро должно быть с кулаками, я услышал лишь несколько лет спустя.

* * *

Впрочем, нет — это я уже путаю что-то. Та осень, откуда в мою память всплыло лицо юной представительницы рабочего класса, была чуть раньше — я тогда учился уже курсе на третьем авиатехникума. Нас послали на завод, на практику — и именно там я впервые понял, что строить светлое будущее нам придется долго, очень долго. Там-то и произошел этот сакраментальный разговор.

Почему она сама тогда не взялась посчитать — поумножать, почему решила обратиться ко мне? Откуда в нас эта это вечное желание перевалить свою обузу на чужие плечи?

Я совсем не виню конкретно ее, речь не о том. А о том, что всем нам очень хочется, чтобы кто-то при-

шел и всё сделал за нас. Весь наш русский фольклор — об этом, все наши сказки полнятся именно этой мечтой. Либо щука с неограниченными возможностями и широкими связями в потустороннем мире. Либо Иван-царевич, который поставит Змея-Горыныча на место и установит справедливый порядок. Либо Василиса-Премудрая, которая найдет решение любой проблемы. Либо скатерть-самобранка, которая напоит-накормит совершенно бесплатно.

Сейчас вот, на моих глазах и с моим участием, эту мечту воплощает президент страны, его полпред в нашем регионе, наша общественная приемная, я сам, наконец. Только что я куда-то звонил, что-то выяснял, вгрызался в проблемы своей посетительницы, решал их...

А что ж она сама? Молодая вроде деваха, неглупая... Не может? Мозгов не хватает? Или не хочет?

Откуда в нас это стремление препоручить свою судьбу кому-то другому?

* * *

Впрочем, подумал я об этом без особого раздражения, как о чем-то вполне нормальном. Тем более, что лицо той девчонки из далекого прошлого вдруг так ясно встало перед моими глазами...

Улыбка у нее была прямо-таки голливудская — на все тридцать два зуба. Может, поэтому я с такой готовностью начал тогда делить-умножать? Нравилась она мне, надо признаться, да и я ей, кажется, тоже. Но практика у меня кончалась — и больше мы никогда не виделись.

* * *

Василиса Премудрая, Иван-царевич... Какое, все-таки, у нас мифологическое мышление! Прямо как

у древних греков, с их богами на Олимпе. Как мы любим наполнять свой мир выдумками, сказками, мечтами...

Наверное, не случайно мы приняли греческий вариант христианства: сказалось родство душ. А может быть, причиной тому — наша склонность к милосердию?

Хотя, милосердие милосердию — рознь. Разное оно бывает, это самое милосердие. Одна моя знакомая недавно проявила это чувство — и попала, как говорится, на деньги. Случай, вроде бы, пустяковый, но он мне почему-то запомнился. Знакомая шла по базару, мимо озябших теток, торгующих щенками — и один щенок ей приглянулся. В порыве умиления она, потратив последние деньги, купила его и принесла в семью. Детям, естественно, новое приобретение понравилось, но вот сама моя знакомая очень скоро пришла к противоположному выводу. Целый день ей пришлось вытирать лужи и отгонять щенка от мебели, которую тот грыз. Всю следующую ночь щенок выл, не давая семейству уснуть — животному было тоскливо и страшно.

На другой день моя знакомая, взяв щенка с собой, пошла на базар, чтобы вернуть покупку и свои деньги. Увы, прежней хозяйки на прежнем месте уже не было. Владелице щенка пришлось ехать за тридевять земель на специальный собачий рынок. Там она еле-еле нашла человека, который согласился забрать приобретение, и это великодушие моей знакомой пришлось поощрить — причем, новому владельцу она заплатила сумму, на сто рублей большую, чем первоначальная цена покупки. В целом приступ умиления обошелся женщине, у которой лишних денег сроду не было, почти в тысячу рублей.

Так что, милосердие требует осмотрительности. Особенно, когда творишь его по отношению к живому существу. Даже по отношению к собаке.

* * *

Собаки — вообще народ странный. Пес, стороживший соседский дом в деревне, всегда приветливо махал хвостом и умильно поглядывал на меня, когда видел, что я несу ему еду. Но как только я клал еду в его алюминиевую миску, он тут же начинал зло рычать на меня: отойди, дескать, это уже не твое.

Что интересно: точно так же он поступал, когда еду носила его хозяйка. Правда, не рычал, но ворчал весьма злобно.

Потом его хозяйка заболела, надолго уехала — и пса из милости взяли соседи. Через пару месяцев он издох, хотя новые хозяева кормили его хорошо, я видел.

Вот чего ему не хватало?

* * *

Всем нам всегда чего-то не хватает в окружающем мире... Я заметил, что этим летом в деревне мне не хватает пения петухов. Их теперь там просто нет!

Я припомнил, что во всех русских сказках и поверьях петушиное пение означало конец всяких наваждений: привидения исчезали, упыри и мертвецы возвращались на место постоянного жительства...

Но если теперь петухов нет, как же быть с упырями? Неужели они будут вольно разгуливать не только ночью, но и белым днем?

* * *

Шутки шутками, но я завел себе будильник, один из сигналов которого имитировал петушиное пение. Да, это «фанера», но когда нет ничего настоящего, сойдет и имитация. Что греха таить: большинство из нас погружены сейчас именно в мир имитаций — имитаций продуктов, потерявших природный вкус, имитаций работы, имитаций любви, имитаций идей и целей.

Виртуальный мир становится всё более реальным, нежели настоящий. И нет поблизости настоящего пехуха, который бы прокукарекал: скоро утро, скоро конец наваждению!

* * *

Чайник за время нашей беседы с курносой волжанкой успел остыть — и мне пришлось включать его снова. Принесенные помощницей пирожки оказались довольно вкусными, но их было явно недостаточно. Ладно, зато поужинаю поплотнее сегодня. Пока что меня выручит национальный русский напиток — горячий чай.

Я стоял посреди кабинета, держа в руках стакан с горячим напитком, размешивал ложечкой сахар, машинально отхлебывал, смотрел в морозящее осеннее окно — и опять ловил себя на мысли, что совсем недавно нечто подобное уже было в моей жизни... но что?

Кружка! Конечно же, это была кружка с горячим чаем! Я держал ее в руках, пальцы жгло, я отхлебывал, живительное тепло порциями шло внутрь, а я смотрел в осеннее окно... точно! Это было в небольшом местном городке, куда меня занесло неделю назад как раз по делам нашей общественной приемной. Сначала мы с напарником долго ехали туда по раздолбанной большегрузами дороге, озлобившееся небо швыряло на лобовое стекло моих «Жигулей» горсти воды, мертвый жар автопечки сушил воздух в салоне... Лишь к вечеру мы добрались до райцентра, зашли в холодный деревянный дом, тускло освещенный светом голых лампочки, поздоровались с хозяевами, которым явно не хотелось даже притворяться гостеприимными...

Но чай нас спас! Мы заварили себе по большой кружке черного грузинского чая, с наслаждением выпили его и завалились спать на лавки, с головой укрывшись собственными пальто. Ни стук дождя, ни

скрип половиц под ногами хозяина, ни храп хозяйки, ни злобный лай пса уже не могли ничему помешать: мы прекрасно выспались! А утром, перед тем, как направиться в местную администрацию, пошли прогуляться по этому маленькому городку.

Впрочем, хоть он сам и маленький, но всё в нем было, по выражению одной моей приятельницы, как у больших. В том числе и проблемы.

* * *

Мы шли по осенним тротуарам, залепленным желтыми листьями, мимо одноэтажных домиков, уютных и сиротливых одновременно. За окнами виднелись обязательные цветы герани — красные и белые, изредка встречалось лицо ребенка или старушки: они с любопытством разглядывали заочных прохожих.

Тихая, неспешная жизнь, к которой здесь так привыкли.

И еще — боязнь любых перемен. Как хороших, в которые местные люди, пожалуй, не верят, так и плохих, которых они не хотят.

Мой напарник хмурился, жаловался на свою двенадцатиперстную, а я посматривал на редких осенних девушек, поскучевших, закутанных в теплое, спрятавших куда-то свои очаровательные пупки — и параллельно пытался вспомнить сон, одолевавший меня всю ночь на жесткой лавке. Что-то там было, встревожившее меня...

* * *

Я иду каким-то очень светлым днем, молодой и счастливый, по родному городу, по местам, где прошли мои детство и юность. Мне радостно и тепло, и я жду, все время жду, что сейчас навстречу попадутся Стас, Юрка, Лариса, Ольга, Колька, Вовка, Генка...

и еще десятки людей, которые меня знают, и с которыми я могу остановиться и поговорить.

Вот они, родные места: вот магазин, куда я бегал за хлебом; река, где я рыбачил, таскал ершей и окуней всем котам в нашем доме; вот школа, где я учился; вот то окно, куда я смотрел часами, чтобы увидеть Лорку; вот дворец культуры, такой уютный, со своим особым запахом, тот самый дворец, где я играл в спектаклях...

Я все убыстряю шаг, почти бегу...

Почему мне никто не встречается? Только какие-то хмурые, наголо подстриженные люди, которых я не знаю. Где же те, другие? куда подевались? Неужели так никто и не обрадуется встрече со мной, не поговорит, ни о чем не спросит? Неужели здесь никто меня не помнит? Господи, я бы сейчас обрадовался любому, даже тому, с кем враждовал в детстве и юности. Но нет! Никого...

Я пробегаю через весь город и оказываюсь на берегу реки. Она равнодушно течет мимо, и тоже не радуется встрече со мной. Она тоже меня не помнит. Слишком долго меня не было. Или я не сделал ничего такого, за что меня стоило бы помнить...

* * *

Я подошел к колонке и, нажав на рычаг, добыл горстку воды. Умыл лицо, прогоняя наваждение. Хорошо, что это был только сон. А мало ли что «наврется во сне», как говаривала моя бабушка.

* * *

Сны... Это штука загадочная. Как-то в разгар трудовых буден мне позвонила та самая знакомая, попавшая в историю со щенком — и сказала:

— Вы мне сегодня снились. Вы очень долго искали какие-то ключи...

— Ключи? А что это значит?

— Не знаю, у меня нет сонника.

«А зачем тогда звонить?» — подумал я. Но все-таки, чуть-чуть встревожившись, начал консультироваться у местных доморожденных специалистов по вещим снам, прикидывать, что же может означать такое видение. Услышал несколько страшилок, которым не поверил. А в итоге, вечером, когда решил закрыть свой кабинет, не смог найти ключи от него. Перерыл всё, раз двадцать обхлопал все свои карманы — всё напрасно! И только призвав на помощь остатки своих знаний в области сыска, понял, что ключи увезла с собой моя помощница, очень в тот день торопившаяся куда-то.

Теперь я твердо знаю: сон о потере ключей означает, что они пропадут. А потом найдутся! Так что, нечего пугать себя понапрасну...

* * *

Но сон, приснившийся мне в райцентре, на деревянной лавке, был всё же о чем-то другом, касался каких-то других сторон моего подсознания... может, он был о безвестности? О каком-то подсознательном моем страхе перед этой самой безвестностью?

Но ведь я, вроде бы, не так уж сильно и боюсь того, что меня забудут. Уже очень давно я смирился с тем, что от нас, от людей, тут ничего не зависит. Сколько народа толпится сегодня перед входом в Историю — и скороспелые политики, и чванливые чиновники, и высокомерные олигархи, и не выигравшие ни одной битвы военачальники... А уж сколько там прозаиков и поэтов, изнасиловавших свои мозги в поисках чего-то, что могло бы удивить мир! Да мало ли еще кто... Но открыть тяжелую дверь самостоятельно они не могут. Лишь изредка некий привратник, выступающий от имени и по поручению Истории, выходит к толпе претендентов и, зевая, говорит:

– Вот ты, ты и ты – входите. Остальные свободны!
И не помогают ни лесть, ни уговоры, ни взятки...

* * *

С одним из таких претендентов мы, помнится, шли недавно к нему домой – дабы испить горькую чашу водки после только что испитой им чаши разочарования, не менее горькой. Тот самый заспанный привратник полчаса назад опять сказал бедолаге, что свободных мест для него нет – и надо же было хоть чем-то уравновесить это тяжкое сообщение!

Мы поднимались к нему на этаж по замусоренной лестнице, шли между исписанной похабщиной стен, под черными потолками – и я, оглядываясь по сторонам, думал: «Эту бы его энергию, которую он нынче тратит на штурм тяжелой двери в Историю – да на борьбу с ЖЭКом! На организацию жильцов! А что – в конце концов, сбросились бы все по небольшой сумме, да и привели всё это в порядок. Веселее бы жить стало! И черт бы с ней, с Историей! Если уж на то пошло, добрый десяток жильцов запомнил бы его на всю жизнь. Соседи бы детям своим рассказывали о нем, как о человеке-легенде... вот тебе и выход на скрижали!»

Безвестность... А что, разве канул в небытие нищий фронтовик из моего детства, игравший на гармошке? Уж, казалось бы, совсем пропащая судьба – ан нет, так и светится он в моей памяти...

* * *

Мы шли тогда с отцом по улице, денек был светлый – кстати, это тоже была осень, ранняя осень – и увидели нищего. Нищих в моем детстве было много; правда, они не просто просили подаяние, а всегда чем-нибудь торговали – спичками, петушками на палочках, сделанными из бумаги и фольги мячиками на

длинной резинке, свистульками. Чаще всего это были люди, покалеченные войной.

Этот нищий тоже был фронтовиком — безногий, он играл на гармошке, а рядом с ним на асфальте лежала его кепка.

Отец был в хорошем настроении. Подойдя к калекке поближе, он сунул в его кепку несколько рублей.

Нищий перестал играть и, улыбнувшись отцу, вдруг сказал:

— Ну что, земляк, сходи-ка, купи четвертинку, у меня уже хватит. Да и выпьем!

Отец отказался, поскольку мы спешили на парход — и безногий музыкант, ничуть не обидевшись, заиграл и запел вслед нам марш артиллеристов.

И я запомнил его на всю жизнь!

* * *

Что греха таить: я и сам в детстве иногда мечтал, чтобы кто-то дал мне денег.. Если бы дали все люди на земле — хотя бы по копейке! — я бы мгновенно стал богатым и счастливым...

Теперь-то я знаю, что счастье — не в деньгах. Хотя это и звучит несколько старомодно.

* * *

А если бы мы не спешили тогда на парход? Наверно, отец и вправду купил бы в близлежащем магазине четвертушку — и, сев рядом на корточки, выпил бы свой стакан водки за свою более счастливую судьбу. А я бы сидел рядом, не понимая, зачем отец пьет на улице волку с этим страшным калеккой, у которого вместо ног толстая фанера на четырех подшипниках. А потом бы, наверное, я заворчал, напоминая отцу, что мать будет ругаться, и что я хочу скорее к бабушке, которая пообещала мне испечь любимые пироги с капустой, и что они будут невкусные, если остынут...

Но мы с отцом торопились на пароход. Впрочем, тот безногий фронтовик, наверное, нашел с кем выпить. Это у нас просто. А водка — что ж. Она многих утешила. Пожалуй, даже слишком многих.

Водка, или спирт.

* * *

Кстати, если б не спирт, я бы мог вообще не появиться на свет. Отец в 1942 году лежал с перебитыми ногами в госпитале, у него начиналась гангрена. Спасла бабу медсестра, которой, очевидно, понравился молоденький черноглазый разведчик. Каждый день она тайком приносила в палату по флакончику спирта и протирала иссеченные осколками ноги.

И случилось чудо — гангрена отступила! Отец вернулся домой живой и здоровый, хоть и на костылях, но с целыми ногами.

Такова наша семейная легенда, которой я склонен верить. А что — мало ли какие зигзаги выписывает жизнь! Она вообще никогда не движется прямо, по расчерченным заранее маршрутам, всегда петляет, поворачивает, возвращается...

* * *

Так же петляет, поворачивает, возвращается на круги своя и человеческая мысль. Наше мышление — сплошные ассоциации, мгновенные перескоки через линейное время, возвращения, непонятные склейки, разрывы... Мысль гораздо более склонна крутиться вокруг да около, нежели двигаться прямо.

Чем-то это похоже на деревенские дороги...

* * *

Когда я в тот день возвращался из райцентра, то по пути подвозил местного жителя. И сказал ему:

— Слушай, вот какой вопрос меня занимает. У вас ведь тут — абсолютная равнина, болот нет. Почему же

дорога-то такая кривая? Одни повороты, да крутые какие!

Он посопел немного, а потом искренне так ответил:

— А хрен его знает!

Подумав, добавил:

— А как лошадь с телегой шла лет триста тому назад, так и дорога возникла. Так и ездят по ней до сих пор!

Очень похоже на правду. С одним уточнением: может быть, это не лошадь шла, где ей было удобно, а возчика, хлебнувшего той же водочки, слегка пошатывало...

* * *

С тех пор многое на Руси изменилось. Деревенской лошадке никакие пьяные повороты не были страшны, а вот современные скоростные машины на таких дорогах живо вылетают на обочину.

Но спрямлять кривые дороги нам кажется дорого. Так и ездим по кривым!

* * *

Стакан в моей руке давно остыл — и я поставил его на подоконник. Дождь закончился. А за окном опять что-то копают — хотят успеть до зимы проложить трубы и дать тепло. Вечный наш пейзаж... А дополняет этот пейзаж самосвал с плохо отрегулированным движком, дымящим так, что сизое облако постепенно накрывает крохотный дворик. У англичан для такого облака имеется слово «смог», у японцев — «когай». Мне когда-то так понравилось это слово, что я порой пугал им своего маленького сына: «Будешь плохо себя вести — придет Когай».

Вот он и пришел...

Придет ли сегодня еще кто-нибудь? Если и нет, уходить нельзя, время приема еще не вышло. А вот по-

мощницу можно бы и отпустить, ей пора идти забирать ребенка из садика.

Хлопнула дверь, оставив меня одного. Чтобы отвлечься, я включил телевизор — и через мгновение лысый дядька свойского вида сообщил мне, что в Испании выпал снег. Вот те на!

А у нас сыро, но тепло.

Сбой в программе?

Почти хайку.

Или хокку? Запомнил. А ведь знал когда-то.

* * *

Переводная японская поэзия... Глупейшее занятие, по-моему — переводить стихи. Как одеть японский дух в русские слова? Разница — как между теплым sake и холодной водкой.

Но если отнестись к этому занятию с юмором, то из-под пера может выйти и нечто достойное внимания. У «митьков» вот выходит — у тех самых, что своими «елы-палы» и «дык» привлекли внимание читающей публики. Начитавшись их подражаний японским сочинителям хайку, я однажды загорелся — и вот что вышло у меня:

Водка холодная сердце мое разогрела.
Выпью-ка чашку sake, это уже для души.
С гейшей на пару, конечно.
Время раздумий.

Прочитал другу, тот меня похвалил (хотя обычно ругает). И тогда из меня посыпалось:

Три самурая под сакурой
Иены печально считали.
Иен не хватило...

Тихо, печально смотрю на острова Хабомаи.
Русского вижу, машет рукой мне,
просунув ее между ног.
Хочет дружить, понимаю.

Возле вокзала в Хоккайдо
Гейша ко мне подошла и иен попросила,
Пообещав неземную любовь.
Вид у нее нездоровый, желтая вся.

Друг мой, сосед-самурай,
Въехал в мою «Мицубиси».
Как же мне выразить гнев?
Сделать себе харакири? Или ему?

* * *

Стихи я сочиняю с юношеских лет, но поэтом себя никогда не считал. Не то, что Юрка, получивший недавно, кажется, аж Пушкинскую премию. Лет десять тому назад мы шли с ним, недавно вернувшимся из длительной эмиграции, по городу — и я прочитал ему коротенькое стихотворение.

Настроение у моего друга было приподнятое, мы возвращались с его поэтического вечера.

— Недурно, недурно, — сказал он благодушно. — Твое?

— Нет, твое. Тебе тогда было семнадцать...

— Да? А я что-то не помню.

— Ну, и что же. Стихи и пишутся не столько для себя, сколько для остальных. Вот я и есть тот остальной...

* * *

Что-то внутри меня, похожее на капризного ребенка, вечно тянет меня туда, куда ему хочется, а не туда, куда надо. Иногда нужно срочно подготовить важный документ, а из-под пера выходит лирическое

стихотворение, или эпиграмма. Что это такое — не понимаю.

Может, проза жизни в такие моменты становится уже невыносимой — и верх берет естественное желание сбежать от нее?

Сбежать, начать новую жизнь... Значит, и я подвержен этой вечной русской болезни? Только другие склонны при этом пересекать географическое пространство, а я чаще всего уйду внутрь самого себя...

* * *

Впрочем, походов и поездок в моей жизни тоже хватает. Даже полеты есть! Совсем недавно летал на вертолете. Немножко побаивался, конечно, поскольку летал на винтокрылой машине, так уж случилось, впервые — и поэтому, наверное, утром перед полетом обратил внимание на черного кота, который перебежал мне дорогу. Я не суеверен, но об этом коте помнил весь полет. Сидел, глядел пилоту в спину, прислушивался к шуму двигателя — и поминал котяру незлым тихим словом. Наверное, для того, чтобы в случае чего было, на кого всё свалить.

Но, похоже, у черного кота таилось где-то белое пятнышко: полет окончился вполне благополучно.

Мы сели посреди огромного былинного поля, с вросшими в него валунами и редкими разноцветными пятнами полевых цветов, уже увядающих...

* * *

Я стоял на земле, вслушиваясь в медленно тающее внутри меня ощущение от закончившегося полета, смотрел на осеннее поле и думал, что тут есть, где развернуться коннице. Наверное, копни землю — и лопата наткнется на обрывок проржавевшей кольчуги или обломок сабли...

Русское поле — это всегда поле битвы. То с врагами, то за урожай.

* * *

И нигде не видать стогов... Их изящные купола, прежде украшавшие почти каждое поле, ныне уступили место рулонам сена, скрученным проволокой.

Где теперь деревенские девушки будут терять невинность?

Хотя, юморок-то этот — сквозь слезы. И деревень всё меньше, и девушек в них почти не осталось.

Деревенская девушка — это уже исчезающий типаж, уходящая натура... А может уже и ушедшая. Навсегда.

* * *

Все-таки где-то на самом дне сидит во мне несостоявшийся историк! Люблю сравнивать эпохи, отыскивать какие-то закономерности в неразберихе лет и десятилетий, размышлять о прошлом и будущем. А уж если появляется возможность своими глазами увидеть какое-то историческое место — я эту возможность стараюсь использовать на все сто процентов. Не всегда, правда, это получается...

Однажды, как раз после того вечера, когда постаревший Юрка источал свои поэтические флюиды на земляков, почти позабывших его за время эмиграции, я решил осуществить свою давнишнюю мечту — побывать на месте знаменитой Ситской битвы, на другом конце Рыбинского водохранилища.

Долго уговаривал мужика в темно-синем кителе и капитанской фуражке взять меня на катер, который шел через рукотворное море до Брейтова. Взмах красной книжечкой не произвел на капитана никакого впечатления, а вот взмах красной десяткой — как раз наоборот. Для того времени сумма была немалая. Мужик в кителе и фуражке, правда, потребовал деньги вперед, я спорить не стал — и зря.

На середине моря, когда берега были уже еле видны, я зашел в рубку спросить о чем-то — и сразу понял, почему наш катер поматывает. И капитан, и его помощник сидели на своих местах пьяные в стельку, и мирно спали. Оставив попытки их разбудить, я припомнил свои походы с отцом, который испытывал военные катера и иногда брал меня с собой — и встал за штурвал.

Почти час я шел по белым бакенам и махал флажком встречным теплоходам, обозначая, каким бортом мы будем расходиться. Шел, как выяснилось, совершенно в другую сторону!

Через час капитан очнулся, сполоснул лицо водичкой и, как ни в чем ни бывало, сам встал за штурвал. Мы вернулись обратно в Рыбинск — и последнее место битвы русских с татаро-монголами на речке Сить я так и не увидел. А потом всё как-то времени не было, да и историк во мне уснул на время. Как тот капитан в рубке своего кораблика.

* * *

На Сить меня тянуло давно! Задолго до этой курьезной поездки мы с приятелем предпринимали попытку доехать до места Ситской битвы на велосипедах. Но сил не хватило — и мы остановились на огромном песчаном берегу водохранилища, усеянном отполированными водой корнями деревьев. Притомившись, — все-таки километров тридцать проехали, — мы развели костер из сухого плавника и сварили себе суп из концентратов, который показался нам тогда весьма изысканным кушаньем. Пропустили по стаканчику сухого вина...

Отдохнув немного, я пошел бродить по взморью, глядя в то, что выбросило рукотворное море. Теплая и чистая вода щекотала мне пятки, почти три часа нажимавшие на педали; на сердце было как-то

празднично, а отшлифованные морем корни попадались совершенно фантастические. Вообще, человек с воображением может увидеть в этих корнях буквально всё на свете: и удивительно пластичные женские фигуры, и силуэты диковинных зверей, и какие-то неведомые, почти космические конструкции, в духе Сальвадора Дали.

Жаль, что люди сюда приезжают редко. И то, в основном, за клюквой — недалеко от берега начинается огромное, буквально усыпанное ею болото.

На болото я не пошел, но стаканчик зеленоватой еще ягоды собрал. Она потом долго еще стояла у меня дома, в баночке на окне, напоминая о тех праздничных минутах, о душевной радости...

Что любопытно: со временем клюква сморщилась, но так и не покраснела.

* * *

Хлопнула дверь на улице: кто-то идет и, похоже, ко мне. Я выключил телевизор и прошел за стол, на свое рабочее место.

В кабинет робко вошла пожилая женщина, одетая по моде тридцатилетней давности. В руках она держала объемистый пластиковый пакет, из которого выглядывал тонкий и длинный батон, чем-то похожий на пластмассового крокодильчика. А на самом пакете была изображена юная улыбающаяся девушка, запечатленная на фоне какого-то далекого тропического острова — там, где вечное лето и нет никаких проблем.

Другая жизнь... Мечта!

У самой посетительницы проблем, похоже, было выше головы. Она долго рассказывала мне о пьяных слесарях, о грубом начальнике линейного участка и бездушных чиновниках из дирекции единого заказчика. Пакет при этом она держала на коленях — и крокодилий батон загоразивал меня, мешал ей видеть

мои глаза. Наконец, устав выглядывать из-за батона, она положила пакет плашмя — и хлебный крокодил, обрадовавшись случаю, выскользнул из пакета и тут же попытался спрятаться под столом.

Женщина заплакала.

Я не стал ее утешать, а вновь включил чайник — и через три минуты подал ей чашку горячего напитка. А затем обратился с назидательной речью — но не к посетительнице, а к батону. Сказал, в частности, что если он будет так себя вести и дальше, то мы его съедим прямо сейчас — поскольку пообедать я сегодня не успел, а пирожки — что за пища?

Перестав плакать, гостья удивленно посмотрела на меня — взрослый серьезный мужик, а несет такую чушь.

И вдруг улыбнулась. Тонки лучики морщин побегали по лицу.

Улыбка, голливудская улыбка... Где-то жизнь нас уже сталкивала?

* * *

Конечно же, это была она — та самая девушка, что много лет назад после беседы со мной пошла «качать права» к мастеру... Боже, сколько ж это лет пролетело!

* * *

Меня она не узнала, конечно — ведь и я изменился. И признаваться ей, напрягать ее память я не стал. Хотя в проблемы ее врубился без особого труда — ведь все подобные проблемы похожи одна на другую, поскольку проистекают из одного источника — несовершенства нашего жилищно-коммунального устройства. Звонить куда-то в это время суток было, конечно, бесполезно,

но я внимательно записал все имена и фамилии, все даты, все аргументы жалобщицы и ее противников — и пообещал в самом скором времени разобраться и помочь.

Помогу, конечно. Не впервой. Сделаю всё, что от меня зависит.

Но это что ж — она все эти тридцать лет так и ходит от одного добровольного помощника к другому? Господи, на что уходит жизнь у моих соотечественников!

Хотя, может быть, просто жизнь у нее не сложилась. Не на кого опереться...

* * *

Юная красотка с тропического острова последний раз улыбнулась мне — и исчезла за дверью, вместе с хозяйкой пакета. Я остался один.

Вот и всё. Ноябрьский прием закончен, можно идти домой.

Но я почему-то медлил...

* * *

Так медлит актер, который никак не может уйти со сцены, хотя все реплики сказаны и аплодисменты отзвучали.

И микрофон отключили до завтра, и публика ушла по своим делам...

Разница в том, что сегодня здесь, на моих глазах и с моим непосредственным участием, разыгрывались вполне реальные драмы, автор которых — сама жизнь.

Впрочем, что-то подобное, кажется, уже говорил Шекспир?

* * *

Лучше Шекспира, конечно, не скажешь. А хуже — не хочется...

Я натянул плащ, взглянул на себя в зеркало и, не увидев там ничего нового, вышел на улицу. А вот она приятно удивила меня: за то время, что я провел в приемной, выпал первый в этом году снежок. Я обратил внимание на крохотную зеленую лужайку, чудом уцелевшую среди раскучуроченной траншеями земли — она стала похожа на белый, только что поглаженный носовой платок. Помнится, мама, нагладив десяток платков, аккуратно складывала их в шифоньер — даже жалко было их брать оттуда и использовать по назначению...

Желтые и красные пятна фонарей и светофоров, разбросанные по темной ткани осеннего вечера, делали город нарядным и, пожалуй, даже немного праздничным.

Я шел и думал о времени — этом немилосердном скульпторе, постоянно переделывающем наши лица. Может, этот скульптор и стремится к совершенству — но в итоге у него получается нечто такое, что и подруга юности не может узнать.

Мысль эта была грустной. Может быть, поэтому ноги сами принесли меня к порогу того самого кафе, где мой сверстник совсем недавно открыл мне формулу нашей жизни. Правда, коньяк там больше не продавали — и Оксана приготовила для меня мой обычный набор: чашку кофе по-турецки и бокал апельсинового сока.

Я сидел в теплом кресле, смаковал огненный кофе, время от времени запивая его ледяным оранж-джу-

сом — и чувствовал, что с каждым глотком моя жизнь улучшается. Поглядывал на улицу через стекло, по которому снаружи стекали посверкивающие разноцветные капли тающего снега, медленно приходил в себя. Да, не самый легкий денек сегодня выдался... Ведь до работы в приемной я сегодня еще и на заводе решил добрый десяток проблем — на том самом заводе, где зарабатываю себе на жизнь. Приемная для меня — всего лишь общественное поручение, «нагрузка», как говаривали в старину.

Да, вот уже и стариной становится та жизнь...

Загрустив всерьез, я отвел глаза от окна — и тут же встретился ими со взглядом, сверлившим меня, похоже, уже с минуту. Мой приятель, редактор крупной газеты, в сопровождении высокого бородатого мужика, стоял рядом со мной — и чему-то радостно улыбался.

— Привет! — заорал он. — Старик, как ты кстати! А я как раз тебя вспоминал!..

* * *

— Полно врать, — сказал я. — Вспоминал он меня... Я в детстве сказки-то слушал с недоверием! А после того, как послужил в двух спецслужбах... можешь себе представить? Так что, не ври. Вы что, ребята, столик ищете? Присаживайтесь ко мне.

— Да ей-Богу, — горячился приятель, ставя на мой столик две дымящиеся чашки, — вот и Сережа подтвердит!

Бородач мрачно кивнул.

— Понимаешь, — тараторил редактор, — эту тему через газету нельзя решить, уж больно она щекотливая.

А вот через твою приемную... ты ведь не бросил свою приемную?

— Мою, — хмыкнул я. — Не мою. А общественную... А ты что — хочешь загрузить меня очередной неразрешимой проблемой?

— От тебя ничего нельзя утаить, — развел руками приятель. — Зоркий глаз, чистые руки, горячее сердце... Слушай, а дело-то серьезное. Познакомься, это Сергей Леонидович, священник из Заозерья, мой старинный друг. У них там, в Заозерье, одна из самых древних в нашей области православных обителей... и на нее сейчас накладывают лапу одни весьма ушлые ребята. Ну, ты ведь историк по образованию, должен понимать значимость этого дела...

Ход редактора был примитивен, но сработал мгновенно. Все-таки эти журналюги тоже не лыком шиты — умеют задевать за живое.

Я отхлебнул кофе, почувствовав вдруг внезапный прилив бодрости.

— Эх, повезло вам, ребята. Сегодня у меня как раз приемный день. Правда, он уже кончился... но что с вами сделаешь. Излагайте. Микрофон включен.

— Правда, что ли? — приятель опасливо осмотрел меня с ног до головы. — Всегда, что ли, в боевой готовности? А где он у тебя, что-то не вижу... неужто в ухе? Или в глазу? Техника на грани фантастики...

— Он перед тобой, друг мой, — сказал я, с удовольствием выливая в себя остатки ледяного напитка. — Он, правда, несколько больших размеров, чем те, которыми пользуются в разных там газетах. Зато красивый. В плаще и шляпе. Так что, излагайте...

* * *

Из кафе я вышел только через час. Такси, заказанное заранее, уже стояло у тротуара, я плюхнулся на

заднее сиденье и назвал водителю адрес. Утвердительно кивнув головой, — знаю, мол, — таксист открыл бардачок и, нашарив там CD-диск, вставил его в щелочку музыкального центра.

— Пусть был тяжелый день, — запели молодые ливерпульские ребята в раздолбанной семерке, мчащейся по улицам древнего русского города — и я почувствовал, что на глаза мои сами собой наворачиваются слезы. Как он догадался поставить мою любимую? «It s been a hard day s night», ранние Битлы, запретная мелодия моей юности, ставшая мировой классикой. А может, это чилийское красное так на меня повлияло? Журналюги бывают очень убедительны, когда сами хотят принять на грудь. Да и батюшка оказался совсем не мрачным...

Нет, я не такой уж меломан, старые записи слушаю нечасто. Они тянут в прошлое, хоть и светлое, но всё же прошлое. Современная жизнь движется под иные ритмы, куда более агрессивные и назойливые. Их тоже надо слушать, а то так в прошлом и останешься.

Впрочем, когда сегодняшние юные рэперы полысеют, эти назойливые ритмы тоже, наверное, будут ласкать им слух. Ничего нового под луной.

Я расплатился с таксистом, осторожно поднялся по мокрым ступенькам — и начал медленно, но верно нашаривать в кармане ключ-«таблетку», чтобы открыть дверь. Отгородились мы от воров железом и сталью — и это, конечно, правильно. Только вот в годы моей юности никаких железных дверей и домофонов не было, дома свои в неприступные цитадели мы не превращали — а краж было, вроде бы, меньше. Или раньше и сахар был слаще и вода мокрей?

В сумке, как птенец в клетке, затрепыхался и завещал мобильник.

– На проводе, – сказал я мрачно, приготовившись оправдываться перед женой за позднее возвращение.

* * *

– Это ты? – зашебетала в трубке бывшая сослуживица. – Слушай, я не очень поздно?

– Никогда не поздно. Никогда и ничего! Пока жив, конечно.

В трубке раздался смех.

– Что-то юмор у тебя стал мрачноватый. Раньше, вроде ты, повеселей был... Так я могу зайти завтра к тебе в приемную? Мне тут нужно по одному вопросу проконсультроваться...

– Конечно, можешь! Правда, завтра там будет дежурить другой человек.

– Ой, да мне не важно, лишь бы прок был!

– Прок будет, – пообещал я, выключая телефон.

На циферблат часов я боялся даже взглянуть.

Привкус свободы



КАКАЯ СЫРАЯ ПОГОДА
ПО КРОВИЩАМ РАССЕЛЕНА
Я ИДУ ЭТО ВРЕМЯ ПО
ЧТОБ СНИ...

И МАШИНЫ ОБИ
ОЧ НАСМУЩ
И ЗАКОНУЮТ
ТАК СПАДА
И СЛЕДО
ЛОЖИТС
НЕ БУД

* * *

Кряхтя и подергиваясь от старости, самый медленный в Ярославле пригородный подходит к перрону и делает его за пару минут совершенно пустынным. Люди с рюкзаками, пакетами, связками досок и сумками, из которых выглядывают полосатые батоны, входят в вагоны, занимают места — и поезд начинает движение по столь привычному для него пути. Восемьдесят километров, ожидающие его впереди, для железной дороги, безусловно, не расстояние, но этот заслуженный труженик будет преодолевать их часа два: с частыми остановками, отдыхая у каждого столба и каждой будки. Что ж, поедем так, как повезут.

Я не ездил на этом поезде лет двадцать, а то и больше. Но, войдя в вагон и заняв место у окна, с удивлением обнаружил, что с той поры, как я попал сюда впервые, еще студентом, совершенно ничего не изменилось. Тот же вагон, те же ободранные кресла... какое редкое постоянство! Такое постоянство приятно в любви; недаром, видимо, железная дорога — женского рода. И любит же она нас...

В вагоне людно, многие стоят, облокотившись на высокие спинки кресел; в самих же креслах сидят те, кому на этот раз повезло. Я вдруг понимаю, что тоже попал в число счастливиц — и, мгновенно расслабившись, прикрываю глаза. Изображение выключено, теперь меня окружают только звуки.

Человек, привыкший к одиночеству автомобильного салона, к мерному журчанию двигателя и легкой, ненавязчивой музыке CD-плеера, в пригородной электричке чувствует себя, мягко говоря, не очень уютно. Его раздражают даже звуки общего вагона — кашель, сморкание, громкие восклицания, смех, ворчание, скрип колес... да мало ли еще какие звуки можно услышать в таком месте! Лично для меня самый ненавистный — с детства! — это звук щелканья семечек.

О лицах людей, шелкающих эти самые семечки, я уж и не говорю, более тупого выражения просто нет в природе. Но даже если я не вижу этих лиц и звук раздаётся за моей спиной, чувство, похожее на ненависть, мгновенно овладевает мною...

Слава Богу, на этот раз сзади меня слышится всего лишь шепот: шепчутся двое, мужчина и женщина. Пусть общаются, они мне не мешают. Да и в вагоне все понемногу успокаиваются. Я бросаю взгляд в окно: вечер прочертил красным карандашом линию горизонта, сделав последнюю попытку помешать небу и земле слиться в единый черный квадрат. Но не получилось: тьма всё гуще заполняет пространство, на глазах создавая очередной шедевр природы. Куда Малевичу до него! Русская осень — это живописец, который будет поталантливее любого авангардиста...

Мои ноздри улавливают запах родимой водочки: похоже, соседи сзади слегка приняли на грудь. Да и шепоток их становится всё громче, хотя говорят они по-прежнему спокойно, даже как-то лениво.

— Я так устала всё решать сама... Ты же не понимаешь, как это! Придти вечером — и ждать, позвонишь ты, или нет...

— Что же делать, так склалось... Сама понимаешь: дома дети, жена — куда ж я денусь!

— А жена-то у тебя красивая, да и помоложе меня будет...

— Зато ты умная.

— Да что мне с этого ума...

— Ну, как же, начальницей стала. Можно сказать, бизнес-леди.

— Это правда. А вот с тобой у меня...

Женщина, очевидно, и впрямь неглупа: почувствовав, что поворот разговора мужчине неприятен, на ходу меняет тему. Совсем с другой интонацией, более спокойной и дружелюбной, произносит:

— Зато сегодня и завтра — вместе. Хорошо! Все равно хорошо...

— У тебя нынче дел-то немного?

— Нет, быстро управляюсь. Кое-что надо на зиму убрать, а то разворуют.

Они молчат с минуту, думая, видимо, каждый о своем, затем женский голос грустно произносит:

— Сыро как на улице... Дождик идет... а пора бы уже и снежку быть!

— Да уж, — со смешком откликается ее собеседник, — осень и вообще-то бабенка слезливая, вроде тебя, а в этом году — особенно. Сырая погода в тоску вгоняет, это точно...

И как-то очень неожиданно начинает читать стихи:

Какая сырая погода.
По крышам расстелен туман.
Я жду это время по году...

Память подводит его: с минуту он молчит, припоминая забывшуюся строчку, затем со вздохом констатирует:

— А дальше забыл. Что-то с памятью моей стало. Так всегда, когда выпью.

Зато я мысленно, как говорится, «на автопилоте», заканчиваю за него:

Чтоб снова замкнуться в обман.
Туманный обман — он спасает
От мысли, что я одинок.
И замкнутость тихо спадает
И снегом ложится у ног.
Не будет, наверно, не будет
Обмана туманного дня.
И кто-то жестоко остудит,
Осудит за это меня.

А я-то думал, что эти грустные строчки, которые я сам по осени частенько напеваю про себя, известны только одному мне. Оказывается, нет!

Мне очень хочется обернуться и спросить мужчину, откуда ему известно это стихотворение — но я так и не решаюсь нарушить уединение двоих. Им так хорошо без меня. Да и не могу я себя выдать, не могу обнаружить, что невольно стал свидетелем их житейско-лирического диалога. Пусть уж эта загадка останется неразгаданной, как и их, видимо, очень непростые отношения...

А стихотворение это — такое печальное и такое русское — написал лет тридцать с лишком тому назад друг моей юности Сашка Гаврилов. Было ему тогда лет восемнадцать-двадцать, не больше. И я даже не знаю, публиковалось оно когда-либо, или нет. Может, и нет... Но ведь живет стихотворение, к которому я когда-то даже придумал мелодию, до сих пор живет! Пусть хотя бы эти три строчки!

А самого Гаврилова давно уж нет...

* * *

В черном квадрате окна кто-то нетвердой рукой рисует три круглых желтых пятнышка. Фонари. Станция.

Мои спутники, немного повозившись за моей спиной, торопливо направляются к выходу. Не удержавшись, я бросаю взгляд вслед им: оба не молоденькие уже...

Да, признаюсь откровенно, мне нравится это занятие — разглядывать людей, пейзажи за окном, думать о прошлом и настоящем... Сейчас, уставясь в черный квадрат давно не мытого вагонного стекла, я пытаюсь в этой густой тьме разглядеть то, чего там явно нет — свою молодость, шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия, их краски, их лица. Сашкины

строчки, так неожиданно прозвучавшие в вонючем вагоне среди дремлющего люда, мгновенно включают во мне, словно разноцветную елочную гирлянду, цепь ассоциаций. «Не говори красиво» — предупреждал классик устами одного из героев. Но как удержаться? Ведь и время было красивое! Время нашей юности, наше время...

* * *

Сашка, Юрка, Алик. Иначе мы друг друга не называли тогда. Юрий Кублановский, ныне известный в нашей стране, да и за ее пределами, поэт, был в то время для меня — да и останется навсегда — просто Юркой. Он учился со мной в одной группе Рыбинского авиатехникума, и подружились мы почти сразу, углядев друг в друге родственные души: у обоих были сложные отношения с точными науками, компенсируемые любовью к литературе. А время было как раз очень литературное. Все мы жили тогда в атмосфере мечты о приближающемся на глазах светлом будущем — и мечта эта была вполне официальной, даже государственной, хотя и, как выяснилось потом, не очень-то реалистической. Скорее, научно-фантастической... Впоследствии этот жанр был припечатан жестким словом «волюнтаризм».

Сейчас в это трудно вато поверить, но что было, то было: литературные журналы, вроде «Нового мира», «Москвы», «Октября», печатались в то время миллионными тиражами, а главной газетой всей читающей публики была «Литературная», основанная еще Пушкиным. Поэты, властители дум молодежи, особенно Евтушенко, собирали огромные залы. Да что там залы — стадионы! И говорилось там порой такое, чего в другом месте услышать было просто нельзя. Я был на одном из таких выступлений, и то ощущение, то чувство свободы осталось во мне навсегда.

Газеты, в том числе и официозная «Правда», охотно печатали стихи. Кстати, первая публикация Гаврилова в центральной печати состоялась, кажется, как раз в «Правде» — это было стихотворение «Береза». Оно и сейчас, я недавно перечитывал его, звучит актуально (пожалуй, даже актуальней, чем в то время):

Береза — Россия,
Россия — Береза.
Откуда в тебе
Эта сила берется?
Но в сердце тревога...
И как не понять —
Сквозь каску
Не хочется мне прорасти!

Страна, еще как следует не отдохнувшая от прошлой войны, радовалась миру. В той атмосфере, под воздействием постоянных рассуждений Юрки о поэзии Гарсиа Лорки, Ахматовой, Пастернака и молодых тогда Вознесенского и Ахмадулиной, просто невозможно было не начать самому писать стихи. Мы и начали; правда, у Юрки это с самого начала получалось лучше, что я всегда признавал безоговорочно.

Написав десятка два стихотворений, мой друг совершенно уверовал в свое литературное предназначение и решил показать свои сочинения Андрею Вознесенскому, уже вошедшему тогда в моду московскому поэту, только что выпустившему книгу «Треугольная груша». Книга обеспечила работой множество критиков: все они стремились разнести и саму книгу, и ее автора вдребадан. Но время на дворе было уже другое, с привкусом свободы на губах. Мы все ее, хоть немножечко, чуть-чуть, но попробовали.

В нашем техникуме, на почетном месте, рядом с письмом первого космонавта Юрия Гагарина, с его автографом, висела вырезка из какой-то газеты. Это

была статья маститого поэта Н.Асеева, близкого друга Маяковского, а последний, как известно, официально считался тогда лучшим советским поэтом. Статья называлась «Как быть с Вознесенским?» и мэтр в ней поддерживал молодого экспериментатора. Не прочесть эту статью было просто нельзя; всё, что говорилось о Вознесенском (а говорилось так же много, как ныне о ценах на бензин), будоражило наши головы и сердца. Юрка умудрился отыскать столичный адрес поэта (улица Нижняя Красносельская помнится мне до сих пор, поскольку и я, вслед за своим другом, через пару лет поехал туда же; правда, мне повезло меньше, чем ему). Поездка была обставлена несколько театрально: его родители, узнав, что сын без спроса укатил в Москву, разволновались было — но тут на свет появилось письмо, где всё объяснялось. Мне были поручены две вещи: постараться скрыть Юркин прогул и, в случае чего, поговорить с его матерью.

Я хорошо запомнил этот день. Мы тогда проходили практику в мастерских и обязаны были в паре с Кублановским освоить работу на станке, который распиливал толстые металлические пруты на небольшие заготовки. К концу дня я был весь мокрый, поскольку пилить железо приходилось в одиночку, с эмульсией, что было весьма несподручно, и весь красный — от постоянного вранья мастеру по поводу Юркиного отсутствия. Но я был горд тем, что пилил железо во имя будущего русской поэзии.

Эта поездка была для Юрия (да и для меня тоже) чем-то вроде паломничества в Мекку. На другой день он появился в техникуме — и это был уже другой Юрка, в чем-то очень изменившийся. Он привез с собой свежую книжку в немыслимой обложке, одуряющее пахнущую типографской краской — это была та самая «Треугольная груша» с дарственной надписью автора. Главное, что поразило нас в оформлении книжки —

после автографа Вознесенского там стояло: XX век. Это была, как мы мгновенно сообразили, заявка на вечность — и мы, два парня из рыбинского техникума, тоже как бы немного к ней прикоснулись...

* * *

Юркина поездка многое изменила в нашей судьбе: оба мы очень быстро поняли, что железо — не наша стихия. И вскоре оба переменили свою жизнь: мой друг поступил в МГУ, на искусствоведческое отделение истфака, а я, у которого возможности были поскромнее — в Ярославский пединститут, на тот же истфак.

Всё, казалось мне, складывалось как нельзя более удачно: ведь удалось получить и общагу, и стипендию. Рыбинск остался позади, я каждый день ходил по улицам областного центра, старинного русского города, который даже в будни старался выглядеть празднично и нарядно. Позитивные эмоции захлестывали меня — и я запоем писал стихи.

Естественно, моей мечтой было увидеть хотя бы одно из своих творений в печати. Это оказалось на удивление легко: я зашел в редакцию вузовской многотиражки «За педагогические кадры», положил редактору на стол свою нетленку (помнится, она называлась «В общезжитии») — и уже через пару дней с радостью и удивлением разглядывал свою фамилию, стоявшую под опубликованным стихотворением.

Первая публикация, как первый поцелуй, никогда не забывается. И тот день, и то состояние радости, ощущение чего-то очень хорошего и значимого, совершившегося в моей жизни, и сейчас нет-нет да и завертится в глубине памяти, словно старая, полузабытая пластинка. Это ощущение поддерживает меня в минуты грусти о несбывшемся, о том, что уже никогда не произойдет.

Среди однокурсников я мгновенно прослыл поэтом. Редактор газеты познакомил меня с совсем молодым, но уже известным в городе поэтом Владимиром Соколом, который готовил для радио передачу на модную тогда тему — о молодых литераторах. И вскоре мое стихотворение прозвучало в эфире. Помнится, именно тогда, во время записи на студии, я и познакомился с Сашкой...

* * *

В студии нас собралось несколько человек: 17-18-летних парней и девушек слегка крючило от страха перед эфиром и одновременно распирало от гордости. Ни о каком «пиаре» мы тогда и понятия не имели — нам просто хотелось быть услышанными. Я вертел головой, разглядывая стены, обитые картонными коробками из-под яиц (для лучшей акустики), и тут заметил Сашку. Не заметить его было невозможно: парень был под два метра ростом, улыбчивый и общительный. Мы тут же познакомились и, кажется, понравились друг другу.

А через несколько дней опять увиделись. Причина была уважительной: по утреннему радио только что прозвучала передача о нас. Как мне было не зайти к собрату по перу!

Гаврилов жил в общежитии химико-механического техникума, в комнате под номером 41. Помнится, цифра эта вызывала у меня (да, наверно, не только у меня) не очень приятные ассоциации: все мы были детьми послевоенного времени и сорок первый год навсегда запечатлелся в наших душах как год трагический и попросту страшный. Правда, мы не застали войны. И очень четко осознавали это, считая себя везунчиками, родившимися в рубашке. Бедность? Да, но ведь вокруг все были бедны. Бедность — не нищета; на нашу долю не выпало ни голода, ни страха перед беспощадными завоевателями.

О голоде стоит сказать и особо: тогдашний генсек, Никита Хрущев, искренне торопившийся поскорее построить светлое будущее, распорядился, чтобы хлеб в столовых подавали бесплатно. Так что, даже если у тебя в кармане была одна черная дыра, с голоду в те времена умереть было невозможно.

Поздоровавшись с Сашкой, я первым делом спросил, есть ли у него стаканы.

— Есть, есть, — обрадовался Гаврилов. Он видимо, подумал, что я захватил с собой бутылочку портвешка (ничего другого мы тогда не пили).

Пока он искал стаканы и споласкивал их, я достал из сумки здоровенную банку компота, привезенную из Рыбинска. Надо было видеть лицо Сашки, когда он, вместо бутылки вина, увидел банку, внутри которой, в темно-красном сиропе, плавали здоровенные сливы. Впрочем, нам и без вина было хорошо — стихи прекрасно воспринимались под компот.

Я не помню, что читал я: всё, написанное в те времена, в далекой юности, было впоследствии изорвано под горячую руку и выброшено. А вот Санькин ответ помню: он прочел доброе, почти детское по смыслу стихотворение, которое впоследствии стало его визитной карточкой — «Дядя, достань воробушка». Именно с него он потом часто начинал свои выступления на публике.

Так началась наша дружба.

* * *

Мы не любили сидеть на одном месте. То ли дело — поболтаться в свободное от занятий время по городу, почитать друг другу по ходу дела что-нибудь из недавно написанного, пообщаться со знакомыми и приятелями, которых становилось всё больше. А то и забежать в киношку, на какой-нибудь двухсерийный индийский фильм, где все сначала рыдают, но потом обязательно радуются.

Однажды, весенним теплым вечерком мы бродили с Сашкой по ярославским улицам, болтали, читали стихи. Идти с ним рядом мне всегда было как-то неловко, поскольку я едва доставал головой до его плеча, и он, когда разговаривал, всегда наклонялся вниз (правда, когда он читал стихи, эта моя неловкость куда-то пропадала). Я немного рассеянно слушал очередной его шедевр, как вдруг он прервал чтение и закричал:

– Привет, Лора, где ты пропадаешь?

Я поднял голову – и обмер. Перед нами стояла настоящая красавица.

Она была немного постарше и меня, и Сашки, что в том возрасте, в каком пребывали мы, всегда существенно – но здесь дело было не в годах. Высокая, под стать Гаврилову, с огромными карими глазищами, одетая так, как одевались все девушки того времени – в цветном плаще, с ярким газовым шарфиком на шее – она сразила меня, не очень искушенного тогда в сердечных делах, буквально наповал.

– Знакомься, – обратился Сашка к девушке, – мой друг, Алик, тоже поэт.

– Симонов, – представился я, совершенно не представляя себе, что говорить и что делать дальше. С такими красавицами мне разговаривать прежде никогда не приходилось.

– Кстати, родственник того самого, Константина, – неизвестно, почему вдруг брякнул Санька.

– Правда? – спросила она с любопытством, одарив меня при этом такой улыбкой, из-за которой в древности запросто могла начаться какая-нибудь война.

Я кивнул головой, чтобы не подводить товарища. Красавица хотела еще о чем-то меня спросить, но Сашка, мгновенно перехватив инициативу, начал рассказывать ей что-то смешное, им стало не до меня. Мгновенно погрустневший, я понял, что роль моя уже отыграна и лучше всего будет, если я незаметно уйду. Что

я и сделал, сославшись на необходимость срочно появиться в институте.

На другой день Сашка позвонил мне — и прочел свое новое стихотворение. Две строчки из этого шедевра я помню и сейчас:

Звезда под названием Лора
С маршрута «Трамвай номер пять»...

— Звезда? А при чем здесь трамвай-то? — спросил я, словно бы и не догадываясь, о ком это.

— Помнишь вчерашнюю девушку, от которой ты сбежал? — слегка подначил Санька. — Это о ней. Она работает водителем трамвая. На «пятерку» ездит...

Больше я ту красавицу не видел. И Сашка при мне о ней не вспоминал. Но стихи — как и ослепительное впечатление от увиденного — остались навсегда. Помните, эти строчки даже публиковались где-то.

* * *

Моего друга, уже снискавшего себе некоторую известность в городе, частенько приглашали на вошедшие тогда в моду «голубые огоньки». Сейчас, в наше безумное время, это название звучит двусмысленно, и я должен предупредить своего молодого читателя, что это были совсем не тусовки гомосексуалистов, собравшихся на огонек у главного гея. Нет, это были вполне гетеросексуальные, невинные вечеринки в школах, институтах и более серьезных заведениях — люди собирались вместе, чтобы выпить немного сухого вина и глотнуть кофейку (питие которого также вошло в моду). Всё это времяпрепровождение оплачивали профсоюзы. Но главным угощением на этих, как бы их сейчас назвали, корпоративных вечеринках, все-таки были люди — обязательно интересные, в чем-то необычные, лучше всего — известные. Сашка и становился таким угощением, а поскольку одному ему славы уже

хватало, он подключил к этому делу и меня, и еще одного нашего товарища, своего тезку, Сашку Баталова, писавшего красивые негромкие стихи.

Сейчас-то я понимаю, что мы с Баталовым были предназначены как бы для подпевки за спиной главного исполнителя, но тогда испытывали к нему только чувство благодарности. Все-таки на вечера приглашали, прежде всего, Гаврилова.

Санькины стихи того времени во многом копировали лексику и стилистику гремевшего тогда Евгения Евтушенко и писались автором явно в расчете на декламацию. А декламировать Гаврилов умел мастерски. Он читал стихи почти как профессиональный актер, совсем не прибегая к поэтическим «завываниям», почему-то очень распространенным в те годы. Прекрасный мужской тембр голоса, четкий проговор слов и, самое главное, интонация, какая-то очень своя и душевная, мгновенно делали Александра Гаврилова любимцем публики. Успех был обеспечен ему практически всегда, в любой аудитории.

Однажды он вдруг перестал появляться на моем горизонте. Длилось это недели две-три, что для наших с ним отношений было, в общем-то, необычно. Несколько раз позвонив Саньке в общагу и не добившись результата, я несколько обиделся и перестал искать его — но вскоре он сам позвонил мне и торжественным голосом, сквозь который пробивалось непонятное мне поначалу ликование, сообщил, что пару моих стихов (не без его протекции) взяли в литературный сборник и что он звонит из редакции.

Выдержав некоторую паузу, он выпалил:

— Алик, мне предложили издать свою книжку! Я не появлялся, потому что надо было срочно готовить текст, редактировать, дописывать... ну, ты понимаешь...

Я понимал. Издать собственную книжку в 18 лет в советское время было не то что трудно — практически

невозможно. Это была настоящая победа! Даже сейчас сделать это не так уж просто, особенно при отсутствии денег, а уж тогда... Это был поистине грандиозный, невозможный успех!

Денег с авторов в те баснословные года никто не требовал — наоборот, платили им. И довольно изрядно. Во всяком случае, когда Санькина книжка (называлась она «Предчувствие любви» и имела, по нынешним временам, весьма приличный тираж — пять тысяч экземпляров) увидела свет, Гаврилов получил такой гонорар, который всем нам, его сверстникам, показался совершенно астрономическим. Разошлась книжка буквально влёт — Сашку наперебой приглашали на встречи с читателями, непременно желавшими приобрести это издание с автографом автора.

А гонорар мы, конечно, обмыли. Гаврилов пожертвовал на это мероприятие довольно приличную сумму — и однажды вечером несколько молодых поэтов во главе с юным литературным лидером шумной гурьбой зашли в гастронорм, в просторечии именуемый «Щукой» (на неоновой вывеске горел силуэт рыбы, чем-то отдаленно напоминавшей этого речного крокодила). Поскольку после «часа икс» спиртное в те времена уже не продавалось, мы приуныли, сообразив, что отпраздновать выход «Предчувствия любви» сможем сегодня разве что в ресторане. А туда нам идти не хотелось: и дорого, и поговорить как следует не удастся. Да и привычки к ресторанам у нас тогда не было.

Спас ситуацию, как всегда, главный герой. Достав из кармана свежее испеченную книжку, он подмигнул нам и двинулся в подсобку, прямым ходом к заведующей магазином. Прошло минут десять тревожного ожидания — и, наконец, на свет появился улыбающийся поэт Александр Гаврилов. Он нес с собой пакет, в котором явственно что-то позвякивало.

— Поэзию и поэтов все любят, — громогласно провозгласил Санька. — Даже завмагазином!

Этот метод — дарить книгу с автографом — он впоследствии взял на вооружение и пользовался им во всех критических для нашей, как сказали бы сегодня, поэтической тусовки, ситуациях. И метод никогда его не подводил. Естественно, Санька всегда попутно включал и свое природное обаяние, от которого практически не было защиты...

* * *

...Поезд дергается и останавливается, мгновенно возвращая меня из века двадцатого в двадцать первый. В вагоне уже пусто: большинство граждан, так и не ставших господами и заплутавших где-то между социализмом и капитализмом, давно сошли с поезда и разбрелись по своим дачным участкам. Что делать на даче в эту пору, сырым и темным предзимьем? Разве что пить водку в холодном щитовом домике, закусывая припасенными на зиму солеными огурчиками да маринованными грибами, собственноручно собранными в окрестных лесах. Но ведь водку можно пить и дома. Что же все-таки гонит моих собратьев из их теплых городских квартир, что не дает им покоя?

Тишину нарушают лишь какие-то скрипучие, почти неузнаваемые мелодии: какая-то крупная деваха мучает свой дешевенький мобильник, пытаясь заставить его работать в режиме радио. Не наигралась еще, видно, недавно купила...

Контролерша усталой походкой идет по вагону, внимательно оглядывая всех. Новых пассажиров она не замечает и по второму разу проверять билеты не решается. Слава Богу, хоть на этот раз обойдется без идиотизма.

Черная ночь глядит в оконное стекло. Помнится, вот таким же темным осенним вечером мы с Сашкой

пришли на заседание литературного объединения при нашем отделении Союза писателей...

* * *

Там к тому времени собралось десятка полтора парней и девушек нашего возраста, все они были нам хорошо знакомы. Занятие вел, кажется, Иван Смирнов, известный ярославский поэт, руководивший в то время писательской организацией. Но он что-то задерживался и мы, от нечего делать, обменивались всякими новостями, литературными и житейскими. Вместе с нами, хотя и несколько в отдалении, в углу, сидел человек, которому было явно за пятьдесят. Мы искоса поглядывали на него и лежащую перед ним здоровенную зеленую папку с тесемками — не иначе, этот графоман со стажем сейчас начнет нас мучить своими занудными виршами...

К счастью, мы ошиблись. Посидев немного и тоже заскучав, мужичок вдруг сказал:

— Ребята, а ведь я был знаком с Есениным! Хотите, я почитаю его стихи, которых вы никогда не слышали?

Еще бы мы не хотели! В те дни в СССР как раз готовились отметить 70-летие поэта — и большинство литературных журналов, да и газет обильно публиковали его стихи, воспоминания о нем и разные документы, касавшиеся его жизни и творчества. Всё кругом, казалось, было пропитано Есениным. Забегая вперед, скажу, что информации о нем, обрушившейся на нас именно в 1965 году, лично мне хватило на всю оставшуюся жизнь — всё, что я узнал впоследствии, было лишь повторением услышанного тогда. Ну, разве что об убийстве рязанского гения я узнал лишь в недавние годы... но разве главное в жизни поэта — это его смерть?

Накатившаяся на нас лавина информации исторгла тогда из меня строки, которые и до сих пор не исчезли из памяти:

Вам семьдесят, Сергей Есенин, семьдесят,
А будет сто. Оставшееся — канет.
Иные старики ведь очень сердятся,
Когда их называют стариками...

И тут вдруг — неизвестные стихи известного поэта! А что, если и впрямь нас сейчас ожидает открытие? Естественно, мы, придвинувшись к мужичку с папкой, мгновенно притихли — и тот, дождавшись полной тишины, очень профессионально прочел нам несколько стихотворений юбиляра, как малоизвестных, так и знаменитых. Звучали они у чтеца как-то совсем необычно — не как стихи, а как музыка, музыка слов, смысл которых не очень-то и важен. Я впервые услышал тогда замечательную строчку «Всё пройдет, как с белых яблонь дым» не как отдельные слова, а как одно слово или музыкальную фразу: «Сбелыхяблоньдым». Какое звучание!

После Есенина читать и слушать свои и чужие стихи нам как-то расхотелось, мы даже приуныли слегка. Но появился руководитель семинара — и началось... Сейчас это, кажется, называется «мастер-класс». Иван Алексеевич взял книжку какого-то известного автора, прочитал нам из нее стихотворение и спросил, не заметили ли мы в тексте чего-либо необычного.

— Стих как стих, — ответили мы недоуменно. — Ничего такого...

— Как же вы, ребята, не заметили там «какулю»?

— Какую «какулю»?

— А вот какую...

И руководитель семинара громко прочел строчку: «Ручей как улей взбудоражен».

— Прочитайте-ка быстро — и поймете, чем был взбудоражен ручей...

Через мгновение все захохотали, а потом наперебой стали упражняться в остроумии.

Что греха таить: из участников этого семинара мало кто вышел в большие поэты. Пожалуй, дистанцию эту смог преодолеть только Сашка. Остальные потерялись по дороге... или свернули в сторону, как я. И все-таки такие встречи не проходили даром ни для кого.

* * *

Литературный сборник, где должны были опубликовать мои стихи, вскоре вышел в свет. Сказать, что я был рад — значит не сказать ничего: это были настоящие, как говорил мой любимый литературный герой Манилов, именины сердца. Гонорар — целых 32 рубля — был немедленно истрачен, и я до сих пор помню, на что. Ну, на вино, естественно. А еще — на несколько здоровенных батончиков темно-красной китовой колбасы. Она немного отдавала рыбой, но оказалась вполне съедобной; во всяком случае, интеллектуалы ярославского замеса не сделали мне на сей счет ни одного критического замечания. Спорили за здорово живешь!

Может статься, именно тот наш банкет в общезижитии, где столом служила расстеленная на полу газета, вспоминал Санька Гаврилов, когда писал:

Скажет: «Заверните гениальность
И кусок китовой колбасы!

Но день тот запомнился мне еще и потому, что мое авторское самолюбие именно тогда впервые испытало боль от критических стрел. Сашка, переступив порог моей комнаты, с несколько расстроенным видом сунул мне номер «Северного рабочего», единственной ежедневной областной газеты, печатного органа обкома партии.

— Прочти — но не бери в голову, — посоветовал он.

Я схватил газету — и тут же наткнулся на искомое: это была рецензия на тот самый литературный сборник. В той половине статьи, где молодых авторов хва-

лили, своей фамилии я не нашел — зато в другой части, где авторов ругали, она как раз была. Точнее, ругали не авторов, а автора, то есть, меня. Два моих стихотворения, которые мне самому и до сих пор кажутся вполне приличными, рецензент назвал «цветами из бумаги» — и ничего хорошего в этом сравнении не было: ведь цветы из бумаги всегда шли на венки для усопших.

Я закусил губу и хотел обидеться... но не обиделся. Черт возьми, а ведь все равно меня заметили! А о большинстве авторов в рецензии вообще ни слова!

Цветы, связанные с могилами, самым неожиданным образом напомнили мне о себе много лет спустя — когда я в форме лейтенанта КГБ ехал на учебные стрельбы и, купив в киоске «Литературку», случайно наткнулся в ней на разгромную статью Анатолия Жигулина. Статья была посвящена второй книжке Гаврилова, вышедшей в Москве, а вместо названия известный советский поэт поставил строчку из Санькиного же стихотворения: «Цветы с могилы чувств не трогай».

Строчка, может, и вправду не самая удачная. Но меня буквально ошарашил уровень злобы, явленный рецензентом по отношению к творчеству молодого поэта, еще не закончившего в ту пору Литературный институт. Я сразу припомнил ту рецензию, в «Северном рабочем»... что-то в них было общее, подумал я. Но что же, помимо раздражения, переходящего в ненависть? Ах, да — это было слово «цветы»...

Санька после той статьи Жигулина, как мне рассказывали, очень переживал, расстраивался. Но пережил как-то. Он, надо сказать, был вообще очень уязвимым, ранимым человеком, несмотря на высокий рост и мужественное лицо. Все творцы ранимы. Однако и сами умеют ранить, иногда и насмерть. Скороспелые суждения о жизни и людях им тоже присущи,

особенно в молодости. Гаврилов, похоже, понимал это уже в самом юном возрасте, не зря же он написал:

В скороспелых сужденьях нелепый,
Мчусь сквозь жизнь, закусив удила.
Я богами из глины не леплен,
Меня мамка на свет родила...

Впрочем, все грядущие передряги были у него еще впереди, а в те годы, когда мы резали на расстеленной газете китовую колбасу, он пребывал в самом, может быть, счастливом периоде своей жизни — запоем писал стихи, читал их со сцены, влюблял в себя ярославских любителей и любительниц поэзии... В те времена в постоянный обиход ярославской культурной жизни вошли литературные семинары, иногда двух-трехдневные — на них приглашали огромное количество пишущего люда. Для молодых авторов фрахтовали гостиницы, им предоставляли залы для работы, а вечером привозили в институты, на предприятия, где юные и не очень поэты и прозаики пробовали выступать со сцены перед публикой. Там-то зачастую и наступал момент истины — тот самый момент, когда молодой автор либо понимал, что ему нечего сказать людям, либо... либо, как Саня Гаврилов, тонул в облаке всеобщей любви. Любви к его стихам, к нему самому.

* * *

Помню, что после одного из таких семинаров меня, Саньку и еще несколько молодых дарований привезли на ярославскую фабрику «Североход». Женщины с усталыми глазами, отработавшие смену, вняли, очевидно, настойчивому призыву партийной и комсомольской организаций — и пришли «набраться культуры», заполнив небольшой зал. Я, очутившись на сцене и глянув в глаза собравшимся, как-то сразу осознал, что старинная поговорка права: молчание — золо-

то. Правда, какое-то дежурное, специально приготовленное для таких случаев стихотворение я, заикаясь, пробормотал — и мне даже вежливо похлопали. Но тут поднялся во весь свой рост Гаврилов и сразу переключил всё внимание на себя.

Как волшеббно преобразился зал! Лица женщин, весь день слышавих только шум станков, ругань мастеров, ворчание контролеров ОТК, уже через минуту стали восторженными. Еще бы! Ведь со сцены полились те слова, которые только и должны слышать женщины — нежные и очень искренние признания в любви.

Сашку тогда очень долго не отпускали со сцены — а он читал и читал, совершенно забыв о других своих собратях по перу. Вообще-то, в такие минуты он всегда забывал обо всем, пребывая где-то очень далеко от нашей планеты. И только гром аплодисментов возвращал его на Землю.

И вот что еще странно — никто из нас, пробовавших себя в литературе, ему тогда не завидовал. Мы тоже его любили!

Я шел с того выступления в каком-то странном состоянии. Момент истины, настигший меня на сцене, всё длился и длился. С одной стороны, я очень хорошо понимал, что судьба побаловала меня, познакомив с человеком по-настоящему талантливым, да еще с таким, какому я тоже интересен. С другой, я начинал всерьез задумываться над простым вопросом: а нужно ли мне связывать свое будущее с такой зыбкой субстанцией, как литература? А вдруг меня ждет судьба неудачника?

Так я шел, рассуждая про себя об этих, очень серьезных вещах — и незаметно подошел к маленькому деревянному магазинчику, стоявшему на том месте, где сейчас находится ярославский Театр юного зрителя. Зашел, отоварился здоровенным батоном — и уже

намеревался было пойти в общагу, как вдруг увидел Славку, своего приятеля, задумчиво поглядывавшего то на меня, то на батон.

— Пойдем на лавочку, пошамаем, — предложил я.

Возражений не последовало. Когда от батона остался только легкий привкус на губах, повеселевший Славка вдруг спросил:

— Слушай, ответь, пожалуйста: зачем ты и тебе подобные пишут километры стихов? Кому это нужно? Ведь ясно, что вы только какой-то сырой материал, из которого ничего не выйдет. Кинули вас в топку — а огня нет и не будет, поверь. Один дым...

— А черт его знает, — беззаботно ответил я и рассмеялся, живо представив себе эти исписанные стихами километры. — Пишем, и всё. Но ведь и путное иногда что-то получается, хотя бы одна строчка. Из-за нее и пишем. Вот ты, без пяти минут аспирант-филолог, знаешь такого русского поэта — Анатолия Серебрянского?

Подумав, Славка честно признался:

— Нет, не помню.

— И немудрено: парень и прожил-то всего 21 год. И написал одно-единственное стихотворение, да и то, поди-ка, к какой-нибудь студенческой пьянке. Но этот стишок, даже не рифмованный, так лег людям на душу, что стал песней, которую поют уже полтора века. Никто не помнит автора, кроме специалистов. Но ведь автор был!

И я напел ему:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни.
Что день — то короче
К могиле наш путь.
Полней наливайте
Заздравные чаши.
И краток, и дорог
Веселья наш миг.

— Да-а, — протянул Славка, посмотрев на меня уже без всякой иронии. — А я и не знал, что это слова Серебрянского, думал — народные...

— Это потом они становятся народными. Но сначала их сочиняет поэт!

* * *

Несмотря на назревавший во мне скептицизм относительно моего литературного будущего, сочинять стихи я тогда все же продолжал. Наверно, на меня действовал Сашка, который уходил в большую литературу буквально на глазах — ею бредил, ею жил. У него уже завелись соответствующие столичные знакомства — и он всюду таскал меня за собой. Однажды, заскочив в общагу, я обнаружил там записку: Гаврилов просил меня придти и познакомиться с известным писателем Владимиром Амлинским, одним из авторов журнала «Юность». Надо сказать, что журнал этот я почему-то всегда недолюбливал, хотя рационального объяснения этому не находил. Читал все литературные журналы, попадавшие мне на глаза — а этот не мог. Какой-то он был «не мой».

Но на встречу с московским писателем я все же пришел. Мы долго бродили втроем по городу, разговаривая обо всем подряд — о литературе, кино, театре, о молодежных проблемах. Сашка всю эпоху эпатировал столичного литератора своими суждениями, которые, как я сейчас понимаю, для Ярославля были весьма нестандартными. Например, он заявил, что его любимый фильм — «Пепел и алмаз» Анджея Вайды. В качестве реплики я, правда, буркнул, что лично мне гораздо больше нравится «Гамлет» со Смоктуновским в главной роли — но на самом деле о Вайде и его фильмах я в тот момент не знал ничего. Это уже потом, значительно позже, устыженный своей необразованностью, я специально пошел в кинотеатр повторного фильма

(был в Ярославле такой, в кинотеатре «Горн») и посмотрел все фильмы Вайды. Но, честно говоря, мало что понял в них — они для меня были слишком «польскими».

Москвич уехал, обогащенный впечатлениями — а через несколько недель Сашка принес мне его статью, опубликованную в какой-то столичной газете. Называлась она, кажется, «Ярославские вечера». Амлинский вылепил в ней обобщенный портрет молодого провинциального литератора, а натурой для лепки явно послужили мы с Сашкой. От меня, правда, остался только лохматый свитер, а по сути, прообразом героя был Гаврилов.

Думается мне, Санька от Польши и ее культуры тоже был далек тогда, просто фильм ему понравился. Сам Гаврилов был родом из Ростова Великого, к тому времени — небольшого районного городка. И проблемы у него тогда были (если были) что ни на есть нашенские — проблемы очень молодого парня из русской провинции, искавшего свой путь в отечественной литературе.

* * *

Кстати, совсем недавно я прочитал где-то, что именем Гаврилова хотели, вроде бы, назвать улицу в Ростове. Однако, не назвали. Наверно, сочли Саньку недостаточно великим для Ростова. А жаль. Вот рыбинцы, те назвали бы — жители этого города очень ревностно относятся к имиджу своей «бурлацкой столицы», и своих поэтов и прозаиков чтят. Есть в Рыбинске и памятник поэту Льву Ошанину, автору слов множества известных песен, преподавателю Литинститута, в семинаре у которого, кстати, занимался Сашка, и улица Михаила Рапова, автора известного исторического романа «Зори над Русью», и мемориальная доска на доме поэта Николая Якушева...

Между прочим, и Рапова, и Якушева я знал лично: первый преподавал у нас в техникуме специальность «Детали машин», а с Якушевым меня заочно познакомил Санька, подарив мне только что вышедшую книгу стихов Николая Михайловича. Я довольно быстро прочитал ее, отметив про себя, что стихи написаны в несколько старомодной манере, но талант и острый взгляд много пережившего человека там, несомненно, присутствуют. Одно стихотворение врезалось мне в память навсегда:

Милый сад с березками у дома...
Говорят, что после сорока
Мир воспринимаешь по-иному:
Тусклыми глазами старика.

Добавить к этому нечего, так оно и есть. Но великую мудрость этих строк я понял совсем недавно. А тогда мне гораздо больше нравились разного рода изыски — вроде стихов того же Андрея Вознесенского.

Любопытно, что именно Якушев подарил мне однажды — в тот день, когда я впервые побывал у него дома — редкий томик Вознесенского. Добрый был человек, душевный. Не ожесточился на жизнь, хотя и немало посидел за политику. Об этом мне тогда же рассказал Сашка. Хоть и не любил он эти темы, но все же однажды рассказал мне историю Якушева.

Сам же Санька, помнится мне, никогда не держал на власть, что называется, фигу в кармане — что для многих литераторов весьма характерно. У него были, правда, небольшие неприятности с каким-то начальством, которое однажды поругало его за строчку «мы пойдем своей дорогой, но и дорогою отцов», но этим дело и кончилось.

Вскоре Гаврилов поступил в Литературный институт и уехал в Москву.

* * *

Юра Кублановский, Саша Гаврилов... Оба они были близкими друзьями моей юности, но, кажется, так и не встретились, не подружились друг с другом. Слишком разные были люди, да и поэты разные. Гаврилов писал в более традиционной манере, истоки которой лежат в творчестве Пушкина, Некрасова, а Кублановский, скорее, шел от Пастернака. Гораздо раньше Гаврилова уехав в столицу, Юрка очень органично вписался в тамошнюю литературную тусовку — и все мы, оставшиеся в Ярославлях и Рыбинсках, скоро стали его прошлым. Во время редких его приездов он сыпал фамилиями Окуджавы, Ахмадулиной, а однажды привез в Рыбинск целую группу молодых поэтов, членов общества СМОГ (самого молодого общества гениев). Целый вечер на чьей-то квартире «смогисты» читали свои стихи — и это было что-то! Как говорится, 30-й этаж 30-этажного дома! Многие из слушателей были в восторге. Но мне стихи «смогистов» показались чересчур заумными, нарочито усложненными.

Юркины стихи тоже стали друзьями. Но когда через пару месяцев он прислал мне свою самиздатовскую книжку, отпечатанную через копирку на пишущей машинке, я с удивлением прочел там совершенно прозрачные строки, которые с тех пор всегда со мной:

Когда умру, через решетки сада
Смотрите на последний листопад.
Смотрите, только рук ломать не надо,
Просовывая в прутья оград...

Когда Юрка вернулся из эмиграции и мы встретились, я прочитал ему эти стихи. Он их не помнил, а я помню всю жизнь.

* * *

С Санькой Гавриловым после его отъезда в Москву мы еще долго переписывались и изредка виделись — то в Москве, то в Ярославле.

Но юность наша прошла, наступили другие времена. Солженицын, повесть которого об Иване Денисовиче была опубликована миллионными тиражами, опять оказался под запретом, герои литературных произведений вновь заговорили казенным языком, знаковые фильмы «Застава Ильича» и «Девять дней одного года» исчезли с экранов. И поэты, властители душ 60-х годов, уже не собирали целые стадионы слушателей. Время, оставившее на наших губах легкий привкус свободы, сошло на нет.

И все-таки оно не прошло даром! Пусть оно было совсем коротким — но успело создать новый тип людей. Людей думающих, более свободных внутренне. Именно эти люди и не допустили впоследствии сползания страны к временам сталинизма, к новому ГУЛАГУ.

* * *

... Ярко освещенный вокзал возвращает меня в действительность. Поезд вздрагивает и останавливается, скрипя железом о железо. Надо же, дотащился!

Мой вагон застывает как раз на том месте, где асфальтовая платформа заканчивается и начинается просто земля, посыпанная гравием. И на эту землю еще надо прыгнуть, а высота — больше метра. Черт возьми, неужели я старею? В молодые годы я этой высоты просто не заметил бы...

Приземляюсь удачно. На улице — темень, промозглая сырость. Что делать — осень. Вернее, предзимье (или «еврозима»?)

— Какая сырая погода, — бормочу я, поднимая воротник пальто.

По крышам расстелен туман.
Я жду это время по году,
Чтоб снова замкнуться в обман.
Туманный обман — он спасает
От мысли, что я одинок...

— Спасает, спасает, — говорю я сам себе и еще кому-то, незримо шагающему вместе со мной по темному пустынному перрону, — но лучше все-таки, Санька, не быть одиноким. Не замыкаться в обман...

Темнота молчаливо соглашается. И я вдруг ловлю себя на мысли, что для общения с Гавриловым мне совсем не нужно стремиться попасть в ту страну, где он давно уже пребывает. Ведь Санькины книжки стоят у меня дома, на полке. Нужно всего лишь открыть их и перечитать.

В голове у меня сама собою начинает вертеться та самая мелодия, которую я когда подобрал к этим Сашкиным строчкам. Помнится, я ее то и дело напевал, тренькая на гитаре, у которой и было-то всего три струны, остальные полопались, не выдержав варварского воспроизведения битловских ритмов...

* * *

Вот и здание вокзала. Вообще-то, это самое светлое место на земле. Однако, сейчас он спокоен и тих: все местные поезда уже вернулись, а столичный придет еще не скоро. Но придет, куда денется!

Местные... столичный... Все мы когда-то приезжаем на местных поездах в город нашей юности, а потом кто-то из нас остается в нем, а кто-то уезжает в столицу, надеясь схватить там за хвост птицу счастья. Когда-то именно с этого вокзала укатил в столицу и мой друг. Нашел ли он там счастье? Сомневаюсь. Был бы он счастливее в Ярославле? Не знаю... Знаю одно: пока жив хоть один человек, помнящий строки поэта — жив и сам поэт.

Содержание

Евгений Чеканов. **После морозов.**
О новой книге Альфреда Симонова.

5

Светлое прошлое

7

Фазтон

39

Включенный микрофон

93

Привкус свободы

133

Симонов
Альфред Николаевич

ОРБИТА ОСКОЛКА

Из записной книжки полковника контрразведки

Литературный редактор Евгений Чеканов

Рисунки Александра Лосева

Компьютерная верстка Ольги Салаховой

Подписано в печать 15 августа 2007 года
Формат 84×108/32. Гарнитура «TimesET».

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,61.

Тираж 300 экз. Заказ № 2759.

Издательство «Губернские вести»
Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.